МИШЕЛЬ
МОНТЕНЬ



«ОПЫТЫ» МУДРЕЦА

«Опыты» мудреца

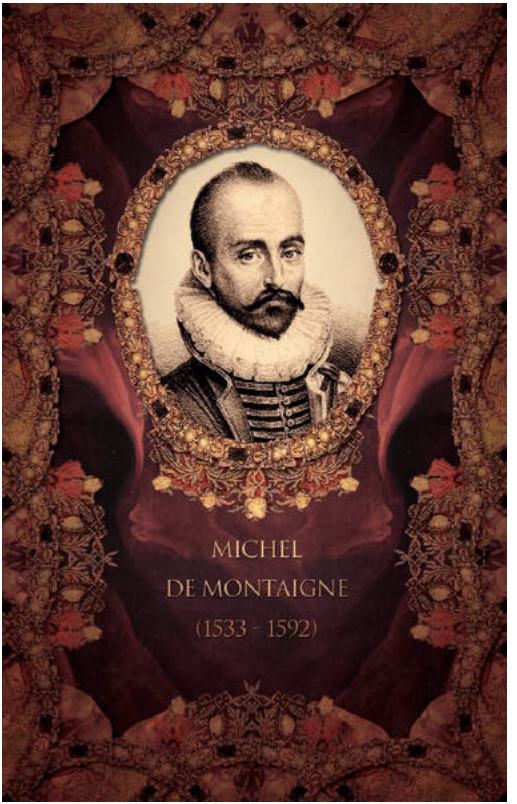
Мишель Монтень, С. З. Кодзова

Аннотация
Мишель Монтень. «Опыты» мудреца
От составителя
Человек. Душа и тело
Мужчина и женщина
Воспитание и дружба
Добродетели и чувства
Пороки, страсти, желания
Знание и богатство
Природа и государство
Жизнь и смерть

Аннотация

Мишель Монтень – французский писатель и философ эпохи Возрождения. Его книга «Опыты» стала не только главным цитатником на следующие столетия, но и источником поистине народной мудрости. Афоризмы и крылатые фразы Монтеня – это испытания, которым он подвергает собственные мнения по разным вопросам. Воспитание, дружба, родительская любовь, свобода совести, долг, власть над собственной судьбой – все рассматривается с точки зрения личного опыта и подкрепляется яркими цитатами, каждая из которых свидетельствует о чем-то личном, сокровенном, затрагивает тончайшие струны души…

В формате pdf A4 сохранен издательский дизайн.


MICHEL
DE MONTAIGNE
(1533 - 1592)

Мишель Монтень
«Опыты» мудреца

© Составление, издание ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2010

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес (www.litres.ru)

От составителя

Мишель Монтень родился 28 февраля 1533 года в замке Монтень близ Бордо на юго-западе Франции. Он происходил из богатой купеческой семьи Эйкемов, приобретшей дворянский титул в конце XV в. С раннего детства Мишель изучал латынь, его наставником был учитель-немец, который говорил с ним только на латыни. В 6 лет Монтеня отдали в школу, а в 21 год, закончив изучение античных авторов, философии и права в Тулузском университете, он получил судейскую должность. Вскоре он подружился со своим коллегой — Этьеном де Ла Боэси. За всю жизнь у Монтеня не было человека ближе, и ранняя смерть Ла Боэси в 1563 г. оставила в его душе глубокий след.

В молодые годы Монтень занимал должность советника Бордоского парламента, в 1580-е годы два раза подряд становился мэром Бордо.

Основой незаурядной учености Монтеня были сочинения древних авторов — латинских и греческих; вместе с тем он хорошо знал писателей ренессансной поры, поддерживал общение и

дружбу с выдающимися современниками — мыслителями, государственными деятелями.

К труду своей жизни, «Опытам» (Essais), Монтень приступил в начале 1570-х годов, удалившись от службы и затворившись в родовом замке. Своим сочинением Монтень узаконил тип свободного философского рассуждения, не ограниченного заранее заданной темой. Более всего его интересовал собственный опыт — не потому, что представлялся ему уникальным, а потому, что это единственное свидетельство, на которое можно опираться.

Главное достоинство произведений Монтеня — это искренность, жажда правды и честность в мыслях.

«Опыты» Монтеня — это испытания, которым он подвергает собственные мнения по разным вопросам, и признания, вытекающие преимущественно из наблюдений над самим собой вместе с размышлениями о природе человеческого духа вообще. По словам писателя, всякий человек отражает в себе человечество; он выбрал себя как одного из представителей рода и изучил самым тщательным образом все свои душевные движения. Воспитание, дружба, свобода совести, долг, добродетель, власть над собственной волей — все

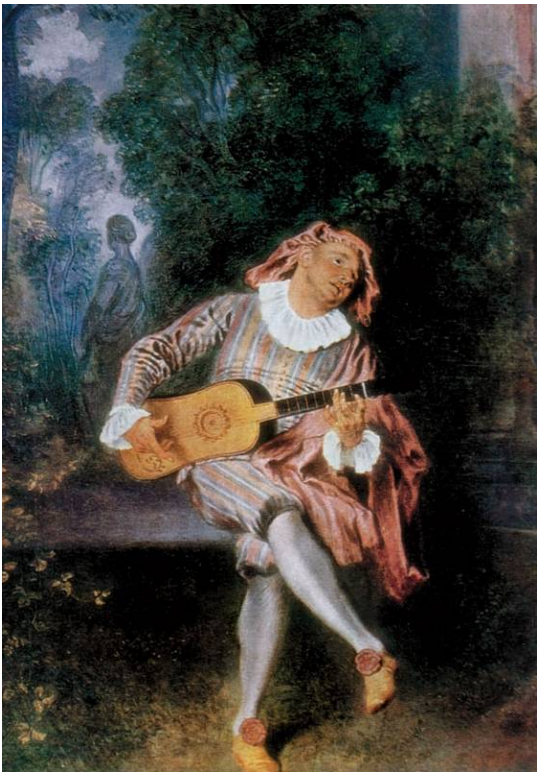
рассматривается с точки зрения личного опыта и подкрепляется цитатами из античных мудрецов.

Признавая эгоизм главной причиной человеческих действий, Монтень не возмущается этим, а находит вполне естественным и даже необходимым для человеческого счастья. Если человек будет принимать интересы других так же близко к сердцу, как свои собственные — тогда прощай счастье и душевное спокойствие! На каждом шагу он осаживал человеческую гордость, доказывая, что человек не может познать абсолютной истины, что все истины, признаваемые нами абсолютными, не более как относительные.

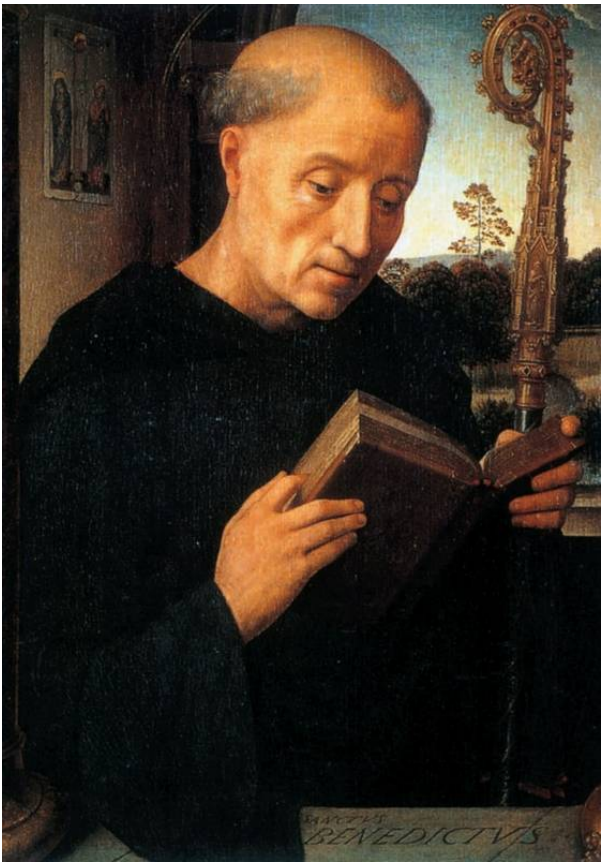
По мнению Монтеня, человек существует не для того, чтобы создавать нравственные идеалы и стараться к ним приблизиться, а для того, чтобы быть счастливым. Мишель Монтень ценил долг и добродетель настолько, насколько они не противоречили этой верховной цели; всякое насилие над своей природой во имя отвлеченной идеи казалось ему безумием.

Труд Монтеня оказал огромное влияние на философскую и художественную культуру Позднего Возрождения и последующих эпох. Перекличка с «Опытами» слышна в «Гамлете» и в поздних пьесах Шекспира.

Афоризмы и изречения французского философа надолго пережили его время. И хотя конце XVII века о Монтене немного забыли, но XVIII век вновь оценил его воззрения, а в XIX веке всех восхищали тонкость психологических рассуждений и здравый смысл «Опытов». С тех пор ироничные и глубокие высказывания Мишеля Монтеня, его ум, наблюдательность и трезвый взгляд на вещи находят неизменный отклик в сердцах читателей.



Человек. Душа и тело


SANCTVS
BENEDICTVS

Чем больше заполняется наша душа, тем вместительнее она становится.

Душа извлекает для себя пользу решительно из всего. Даже заблуждения, даже сны — и они служат ее целям: у нее все пойдет в дело, лишь бы оградить нас от опасности и тревоги.

Мы не привыкли искать высшего нашего удовлетворения в душе и ждать от нее главной помощи, несмотря на то, что именно она — единственная и полновластная госпожа и нашего состояния, и нашего поведения.

Чтобы правильно судить о вещах возвышенных и великих, надо иметь такую же душу; в противном случае мы припишем им наши собственные изъяны.

Я предпочитаю самостоятельно ковать себе душу, а не украшать ее позаимствованным добром.

Бедному помочь можно, скудному душою — вряд ли.

Душа, не имеющая заранее установленной цели, обрекает себя на гибель; как говорится, кто везде, тот нигде.

Врач, впервые приступая к лечению своего

пациента, должен делать это изящно, весело и с приятностью для больного; и никогда хмурый врач не преуспеет в своем ремесле.

Нашему телу свойственно более или менее одинаковое сложение и одинаковые склонности. Душа же наша бесконечно изменчива и принимает самые разнообразные формы, обладая при этом способностью приспосабливать к себе и к своему состоянию ощущения нашего тела и все прочие его проявления.

Я предписываю душе своей созерцать и страдание, и наслаждение взором равно спокойным и мужественным, но в одном случае радостным, а в другом суровым, и, насколько это в ее силах, приглушать одно и давать распускаться другому.

Бывают люди, которые поправляются от одного вида лекарств.

Самый ценный плод здоровья — возможность получать удовольствие.

Здоровье — это драгоценность, и притом единственная, ради которой действительно стоит не только не жалеть времени, сил, трудов и всяких благ, но и пожертвовать ради него частицей самой жизни, поскольку жизнь без него становится

нестерпимой и унизительной.

Без здоровья меркнут и гибнут радость, мудрость, знания и добродетели.

Прочистите лучше мозги: это будет полезнее, чем прочистить желудок.

Врачи не довольствуются тем, что прописывают нам средства лечения, но делают здоровых людей больными для того, чтобы мы во всякое время не могли обходиться без них.

Всякий путь, ведущий к здоровью, я не решился бы назвать ни чересчур трудным, ни слишком дорогостоящим.

Болезни следует смягчать и излечивать разумным образом жизни; напряженная борьба между лекарством и болезнью всегда причиняет вред, так как эта схватка происходит в нашем организме.

Предоставим же организм самому себе: природа, помогающая блохам и кротам, помогает и людям, которые терпеливо вверяются ей… Мы можем до хрипоты понукать нашу болезнь — это ни на йоту не продвинет нас вперед… наши страхи и отчаяние не ускоряют, а лишь задерживают

помощь природы.

Болезнь должна иметь свои сроки, как и здоровье.

Счастье врачей в том, что… их удача у всех на виду, а ошибки скрыты под землей.

У врачей несомненно есть основания требовать от больного веры в приписываемые им средства, ибо надо действительно быть очень простодушным и податливым, чтобы довериться столь сомнительным фантазиям.



Врачи умно поступили, объявив богов и демонов родоначальниками медицины, создав особый язык и особую письменность, невзирая на философское наставление, гласящее, что безумно давать человеку благие советы на непонятном ему наречии.

Видел ли кто-нибудь врача, который согласился бы с назначением своего коллеги, ничего не вычеркнув и не прибавив? Они предают этим свою науку и выдают себя с головой, показывая, что больше заботятся о своей репутации и, следовательно, о своей выгоде, чем об интересах больного.

Если бы в тех случаях, когда врачи ошибаются, мы могли быть уверены, что их назначения, не помогая нам, по крайней мере не приносят вреда, нас утешала бы мысль, что, стремясь к лучшему, мы по крайней мере ничем не рискуем.

Врачи считают, что нет такого лекарства, которое не было бы в какой-то мере вредным для организма. Но если даже помогавшие нам лекарства причиняют известный вред, то что сказать о тех средствах, которые нам прописываются совершенно ошибочно?

Подобно тому как враг, увидев, что мы обратились в бегство, еще больше распаляется, так и боль, подметив, что мы боимся ее, становится еще безжалостнее… Но если мы падаем духом и поддаемся ей, мы тем самым навлекаем на себя грозящую нам гибель и ускоряем ее.

Врач должен знать очень много о самом больном, учитывая множество обстоятельств и соображений, чтобы правильно назначить лечение. Он должен знать физический склад больного, его темперамент и нрав, его склонности, его действия, даже его мысли и представления… он должен знать причины болезни, ее симптомы, каково было начало заболевания, как протекали критические дни болезни; в отношении лекарства он должен знать его вес, силу, происхождение, вид, способ приготовления, срок действия. И все эти элементы он должен уметь дозировать и сочетать между собой.

Хирургия представляется мне гораздо более достоверной областью медицины: она по крайней мере видит, с чем имеет дело.

Деревья — и те как будто издают стоны, когда им наносят увечья.

Душа, потрясенная и взволнованная, бесплодно погружается в самое себя, если не занять ее чем-то внешним; нужно беспрестанно доставлять ей предметы, которые могли бы стать целью ее стремлений и направлять ее деятельность.

Наша душа совершает свои движения под чужим воздействием, следуя и подчиняясь примеру и наставлениям других. Нас до того приучили к помочам, что мы уже не в состоянии обходиться без них, мы утратили нашу свободу и собственную силу.

Если зрение и не самое необходимое из наших чувств, оно все же среди них то, которое доставляет нам наибольшее наслаждение; а из органов нашего тела, одновременно доставляющих наибольшее наслаждение и наиболее полезных для человеческого рода, следует назвать, думается мне, те, которые служат деторождению.

Душа, скованная множеством тревог и сомнений, легко утрачивает власть над собою.

Как часто непроизвольные движения на нашем лице уличают нас в таких мыслях, которые мы хотели бы утаить про себя!

Я предоставляю полную свободу природе, пола-

гая, что она имеет зубы и когти, чтобы отбиваться от совершаемых на нее нападений и поддерживать целое, распада которого она всячески старается избежать. Я опасаюсь, как бы лекарство, вместо того чтобы оказать содействие, когда природа вступает в схватку с недугом, не помогло бы ее противнику и не возложило бы на нее еще больше работы.

Врачи не боятся плохо делать свое дело, так как и плачевный исход умеют обратить себе на пользу.

Платон вполне справедливо говорил, что врачам позволительно лгать сколько угодно, ибо наше выздоровление зависит от их щедрых и обманчивых посулов.



Нужно закалять свое тело тяжелыми и суровыми упражнениями, чтобы приучить его стойко переносить боль и страдания.

Душа, ставшая вместилищем философии, непременно наполнит здоровьем и тело. Царящие в ней покой и довольство она не может не излучать вовне.

Чем менее занята и чем меньшей стойкостью обладает наша душа, тем легче она сгибается под тяжестью первого обращенного к ней убеждения. Вот почему дети, простолюдины, женщины и больные склонны к тому, чтобы их водили, так сказать, за уши.

Все исцеляется своею противоположностью, ибо только боль врачует боль.

Заботясь о здоровье больных, врачи, бесспорно, наносят ущерб своему собственному, поскольку они постоянно соприкасаются… с ними, подвергая себя опасности заразиться.

Мыслящий человек ничего не потерял, пока он владеет собой… Те богатства, которые делали его богатым, и то добро, которое делало его добрым, остались целыми и невредимыми.

Надо судить о человеке по качествам его, а не по нарядам… Измеряйте человека без ходулей. Пусть он отложит в сторону свои богатства и знания и предстанет пред вами в одной рубашке.

Мы хвалим коня за силу и резвость, а не за сбрую; борзую за быстроту бега, а не за ошейник; ловчую птицу за крылья, а не за цепочки и бубенчики. Почему таким же образом не судить нам и о человеке по тому, что ему присуще?

Надо иметь жен, детей, имущество и прежде всего здоровье… но не следует привязываться к этому свыше меры, так, чтобы от этого зависело наше счастье. Нужно приберечь для себя какой-нибудь уголок, который был бы целиком наш… где мы располагали бы полной свободой, где было бы наше главное прибежище.

Среди отправлений человеческой души есть и низменные: кто не видит и этой ее стороны, тот не может сказать, что знает ее до конца. И случается, что легче всего постичь душу человеческую тогда, когда она идет обычным шагом. Ибо бури страстей захватывают чаще всего наиболее возвышенные ее проявления.

Наше счастье или несчастье зависит только от

нас самих.

Я считаю, что к двадцати годам душа человека вполне созревает, как и должно быть, и что она раскрывает уже все свои возможности. Если до этого возраста душа человеческая не выказала с полной очевидностью своих сил, то она уже никогда этого не сделает.

Я не думаю, чтобы злонамеренности в нас было так же много, как суетности, и злобы так же много, как глупости: в нас меньше зла, чем безрассудства, и мы не столь мерзки, сколь ничтожны.

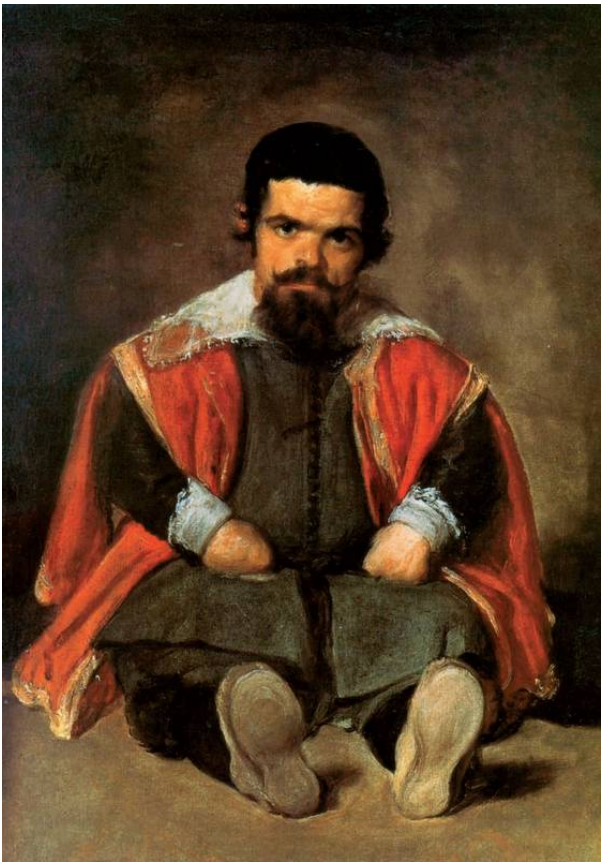
Глупость и мудрость сходятся в одном и том же чувстве и в одном и том же отношении к невзгодам, которые постигают человека: мудрые презирают их и властвуют над ними, а глупцы не отдают себе в них отчета. Люди обыкновенные, средние, находятся между двумя этими крайностями — они сознают свои беды, ощущают их и не имеют силы перенести.

Иногда первым уступает старости тело, иногда душа. Я видел достаточно примеров, когда мозг ослабевал раньше, чем желудок или ноги. И это зло тем опаснее, что оно менее заметно для страдающего и проявляется не так открыто.

Мне кажется странным, когда разумные люди пытаются мерить все человеческие поступки одним аршином, между тем как непостоянство представляется мне самым обычным и явным недостатком нашей природы.

Мне труднее всего представить себе в людях постоянство и легче всего — непостоянство.

Ты можешь быть сколько угодно мудрым, и все же, в конечном счете, — ты человек, а если ли что-нибудь более хрупкое, более жалкое и ничтожное?



Пусть не покажется вам странным, что тот, кого вы видели вчера беззаветно смелым, завтра окажется низким трусом; гнев или нужда в чем-нибудь, или какая-нибудь дружеская компания, или выпитое вино… заставит его сердце уйти в пятки. Ведь речь идет не о чувствах, порожденных рассудком и размышлением, а о чувствах, вызванных обстоятельствами. Что удивительного, что человек стал иным при иных, противоположных обстоятельствах?

Эта наблюдающаяся у нас изменчивость и противоречивость, эта зыбкость побудила одних мудрецов предположить, что в нас живут две души, а других — что в нас заключены две силы, из которых каждая влечет нас в свою сторону: одна к добру, другая — ко злу, ибо резкий переход от одной крайности в другую не может быть объяснен иначе.

Я придаю своей душе то один облик, то другой, в зависимости от того, в какую сторону я ее обращаю. Если я говорю о себе по-разному, то лишь потому, что смотрю на себя с разных точек зрения.

Человек — самое злополучное и хрупкое создание и тем не менее самое высокомерное. Человек

видит и чувствует, что он помещен среди грязи и нечистот мира, он прикован к худшей, самой тленной и испорченной части вселенной, находится на самой низкой ступени мироздания наиболее удаленной от небосвода, и однако же он мнит себя стоящим выше луны и попирающим небо.

Философы всех школ согласны в том, что высшее благо состоит в спокойствии души и тела. Но где его найдешь? Право, похоже на то, что природа, видя нашу несчастную и жалкую долю, дала нам в утешение одно лишь высокомерие.

Мудрость — это умение владеть своей душой.

Философы утверждают, что боги обладают подлинным здоровьем и воображаемыми болезнями, человек же, наоборот, подвержен подлинным болезням, а все получаемые им блага — лишь мнимые.

Мы вправе гордиться силою нашего воображения, ибо все наши блага являются плодом его.

Сколько больных породила одна лишь сила воображения! Постоянно приходится видеть, как такие больные делают себе кровопускание, очищают желудок и пичкают себя лекарствами,

стремясь исцелиться от воображаемых болезней.

Когда у нас нет настоящих болезней, наука награждает нас придуманными ею. На основании изменившегося цвета лица или кожи тела у вас находят катаральный процесс; жаркая погода сулит вам лихорадку; определенный завиток линии жизни на вашей левой руке предвещает вам в ближайшем времени некое серьезное заболевание или даже полное разрушение вашего здоровья.

В отношении моего здоровья невежество дает мне столько же оснований надеяться, как и опасаться, и потому, не располагая ничем, кроме примеров, которые я вижу вокруг себя, я выбираю из множества известных мне случаев наиболее обнадеживающие.

Мы можем видеть на примере животных, что душевные волнения вызывают у нас болезни.

Душевное волнение ослабляет и подрывает обычно и телесные силы, а вместе с тем и саму душу.

Подобно тому, как самая глубокая дружба порождает самую ожесточенную вражду, а самое цветущее здоровье — смертельную болезнь, точ-

но так же глубокие и необыкновенные душевные волнения порождают самые причудливые мании и помешательства; от здоровья до болезни один шаг.

На поступках душевнобольных мы убеждаемся, как безумие непосредственно порождается нашими самыми нормальными душевными движениями. Кто не знает, как тесно безумие соприкасается с высокими порывами свободного духа и проявлениями необычайной и несравненной добродетели?

Мудрость нисколько не укрепляет нашей природы.

Я не люблю лечить одну беду с помощью другой и ненавижу лекарства, еще более докучные, чем болезнь.



Если мне скажут, что преимущество иметь притупленную и пониженную чувствительность к боли и страданиям связано с той невыгодой, что сопровождается менее острым и ярким восприятием радостей и наслаждений, то это совершенно верно; но, к несчастью, мы так устроены, что нам приходится больше думать о том, как избегать страданий, чем о том, как лучше радоваться.

Мы ощущаем несравненно острее самое пустяковое заболевание, чем самое полное здоровье.

Если врачи не делают ничего хорошего, то они хоть подготавливают заблаговременно своих больных к смерти, подтачивая постепенно их здоровье и понемногу ограничивая их во всех жизненных проявлениях.

Самые частые и тяжкие болезни — те, которыми мы обязаны своему воображению.

Опыт научил меня тому, что мы губим себя нетерпением. Беды наши имеют свою жизнь и свой предел, свои болезни и свое здоровье.

Болезни обладают тем же строением, что и живые существа. Едва зародившись в нас, они следуют своей строго определенной судьбе, им тоже дается некий срок. Тот, кто хочет во что бы то

ни стало насильственно сократить или прервать их течение, только удлиняет его, только усиливает недуг, вместо того чтобы его затушить.

Предоставим природе действовать по своему усмотрению, она лучше знает свое дело, чем мы.

Удовольствие — одно из главных видов пользы.

Мы должны кротко подчиняться установленному для нас самой судьбой закону. Ведь мы и созданы для того, чтобы стареть, слабеть, болеть, несмотря ни на какое врачевание.

Самый ценный плод здоровья — возможность получать удовольствие: будем же пользоваться первым попавшимся удовольствием.

Наше хорошее самочувствие означает лишь отсутствие страдания.

Уничтожая ощущение боли, одновременно уничтожают и ощущение наслаждения, и в конечном итоге человек перестает быть человеком.

Страдание тоже должно занимать свое место в жизни человека. Человек не всегда должен избегать боли и не всегда должен стремиться к

наслаждению.

Там, где философы не в силах залечить рану, они стараются усыпить боль.

Человек может быть только тем, что он есть, и представлять себе все только в меру своего понимания.

Ничто присущее нам ни в каком отношении не может быть приравнено к божественной природе или отнесено к ней, ибо это накладывало бы на нее отпечаток несовершенства. Как может эта бесконечная красота, бесконечное могущество и бесконечная благость без ущерба для своего божественного величия допустить какое-либо соответствие или сходство с таким существом, как человек?

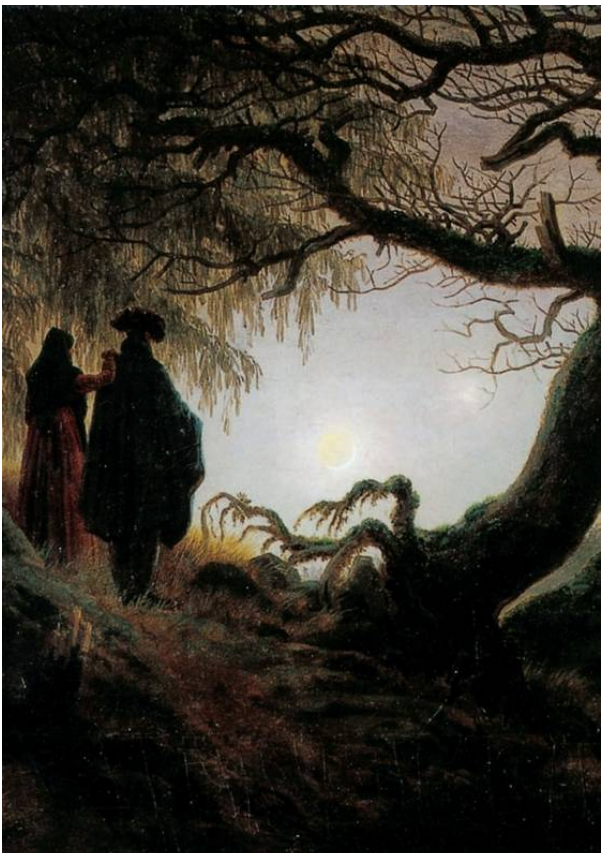
Нет ничего, что так сильно врезывалось бы в память, как именно то, что мы желали бы забыть; вернейший способ сохранить и запечатлеть что-нибудь в нашей душе — это стараться изгладить его из памяти.

Простота делает жизнь не только более приятной, но и более чистой, и прекрасной.

Наше тело призвано служить не только нам, но

также и богу и другим людям; поэтому умышленно терзать его столь же недопустимо, как лишать себя жизни под каким бы то ни было предлогом.

Надо признать, что философия хорошо научила человека переносить всякого рода несчастия, вооружив его либо терпением, либо, если уж очень трудно вытерпеть, то самым верным средством: полнейшим бесчувствием. Однако все эти способы годятся лишь для души здоровой, которая владеет своими силами, способна рассуждать и решать, но они совершенно бессильны, когда душа впадает в безумие, когда она потрясена, надломлена.



Душа, не будучи в состоянии из-за своего смятения и слабости опереться на себя, ищет утешений, надежд и поддержки во внешних обстоятельствах. Какими бы легковесными и фантастическими ни были эти придуманные ею подспорья, она опирается на них увереннее и охотнее, чем на себя.

Всё созданное нашим собственным умом и способностями, как истинное, так и ложное, недостоверно и спорно. Чтобы наказать нашу гордыню и показать нам наше ничтожество и слабость, Бог произвел при постройке древней вавилонской башни столпотворение и смешение языков.

Человек знает о своем теле не больше, чем о душе.

Наши суждения, наш разум и наши душевные способности всегда зависят от телесных изменений, которые совершаются непрерывно… Разве когда мы здоровы, наш ум не работает быстрее, память проворнее, а речь живее, чем когда мы больны? Разве когда мы радостны и веселы, мы не воспринимаем вещи совсем по-иному, чем когда мы печальны и удручены?

На нашу душу сильно действуют потрясения и переживания, вызываемые телесными ощущениями, но еще больше действуют на нее ее собственные страсти, имеющие над ней такую власть, что можно без преувеличения сказать, что ими определяются все ее движения.

Люди меняют свой нрав, если их переселить в другое место, совершенно так же, как и деревья.

Если мы видим, что под влиянием какого-то действия небесных светил процветает то одно искусство, то другое; или что каждый век порождает определенных людей и наделяет их определенными склонностями; что люди бывают то способными, то бесплодными, как бывают поля, — во что в таком случае превращаются все те прекрасные преимущества, которыми мы якобы обладаем?

Поскольку ошибиться может и один умный человек, и сто умных людей, и целые народы, иначе говоря, поскольку, по нашему мнению, человеческий род в течение многих веков ошибается в том или ином вопросе, какая может быть у нас уверенность, что он когда-нибудь перестанет ошибаться и что именно в этом веке он не ошибается?

Человек и снаружи, и изнутри полон лжи и слабости.

Те, кто сравнивал нашу жизнь со сном, были более правы, чем им иногда казалось. Когда мы спим, наша душа живет, действует и проявляет свои способности не в меньшей мере, чем когда она бодрствует.

Мы встречаем немало подобных наставлений, которые предлагают нам в тех случаях, когда разум бессилен, довольствоваться пустенькими и плоскими утешениями, лишь бы они давали душевное спокойствие.

Так как наш разум и наша душа воспринимают те мысли и представления, которые возникают у человека во сне, и так же одобряют поступки, совершаемые нами во сне, как и те, что мы совершаем наяву, то почему бы нам не предположить, что наше мышление и наши поступки являются своего рода сновидениями и наше бодрствование есть лишь особый вид сна.

Трудность придает цену вещам.

Красота — великая сила в общении между людьми; это прежде всего остального привлекает людей друг к другу, и нет человека, сколь бы

диким и хмурым он ни был, который не почувствовал бы себя в той или иной мере задетым ее прелестью.

Тело составляет значительную часть нашего существа и ему принадлежит в нем важное место. Вот почему его сложение и особенности заслуживают самого пристального внимания.

Необходимо повелеть нашему духу, чтобы он не замыкался в себе самом, не презирал и не оставлял в одиночестве нашу плоть, но… пекся о ней, помогал ей во всем, наблюдал за нею, направлял ее своими советами, поддерживал, возвращал на правильный путь, когда она с него уклоняется.

В делах человеческих, к чему бы мы ни склонялись, мы найдем множество доводов в пользу всякого мнения.



Христиане имеют особое наставление относительно этой связи, ибо они знают, что правосудие Господне предполагает это единение и сплетение души и тела настолько тесным, что и тело, вместе с душой, обрекает на вечные муки или вечное блаженство; они знают также, что Бог видит все дела каждого человека и хочет, чтобы он во всей своей цельности получал по заслугам своим либо кару, либо награду.

Душа моя жаждет свободы и принадлежит лишь себе и никому больше; она привыкла распоряжаться собой по собственному усмотрению.

Не существует на свете души, сколь бы убогой и низменной она ни была, в которой не сквозил бы проблеск какой-нибудь особой способности; и нет столь глубоко погребенной способности, чтобы она так или иначе не проявила себя.

Истинно прекрасные души всеобъемлющи, открыты и готовы к познанию всего, что бы то ни было, и если они порой недостаточно просвещены, то для них, во всяком случае, не закрыта возможность стать просвещенными.

В какую бы сторону я ни обратил свой взор, я всегда нахожу достаточно причин и весьма

убедительных оснований, чтобы туда и устремиться. Таким образом, я пребываю в сомнении и сохраняю за собой свободу выбора, пока необходимость решиться не начинает теснить меня.

Души обыденные и грубые не видят ни изящества, ни значительности в тонком и возвышенном рассуждении. Но ведь два этих разряда и заполняют собой мир. Третий разряд… души чистые и сильные собственной силой — настолько немногочислен, что не пользуется у нас, и вполне заслуженно, ни влиянием, ни известностью, так что стремиться ему угодить — значит попусту терять время.

Матери правы, когда бранят детей за то, что они подражают слепым, хромым, косоглазым, людям с каким-либо другими физическими недостатками, ибо, кроме того, что это может причинить вред не сложившемуся еще организму ребенка, получается так, как будто судьба нас подстерегает, чтобы поймать на этом; мне довелось слышать о многих случаях, когда люди, изображавшие какую-нибудь болезнь, потом и в самом деле заболевали ею.

Те, кого мы называем уродами, вовсе не уроды для Господа Бога, который в сотворенной им

вселенной взирает на неисчислимое множество созданных им форм; можно поэтому полагать, что удивляющая нас форма относится к какой-то другой породе существ, неизвестной человеку. Премудрость Божия порождает только благое, натуральное и правильное, но нам не дано видеть порядка и соотношения всех вещей.

Столько людей свыкается со своими бедами, и нет столь тяжкой участи, с которой человек не примирился бы ради того, чтобы остаться в живых.

Во мне все более крепнет убеждение, что большинство наших душевных способностей, по крайней мере при том, как мы их применяем, скорее нарушают наш жизненный покой, чем способствуют ему.

Я всегда считал неуместным предписание, повелевающее строго и неколебимо сохранять при перенесении боли присутствие духа и держаться спокойно, презирая ее… При таких крайних обстоятельствах, как припадок, жестоко предъявлять столь суровые требования.

Я не выношу, когда отказываются принимать лекарство лишь на том основании, что вкус его

неприятен; это не в моем духе, ибо я считаю, что ради здоровья стоит претерпевать всякие надрезы и прижигания, как бы мучительны они ни были.

Никогда не существовало двух совершенно одинаковых мнений, точно так же, как один волос не бывает вполне похож на другой и одно зерно на другое. Наиболее устойчивым свойством всех человеческих мнений является их несходство.

Мы не всесильны; ведь так или иначе нам часто приходится препоручать наш корабль божественному промыслу, видя в нем якорь спасения.

Мы не должны позволить естественным изменениям брать верх над нами до такой степени, чтоб от этого страдали наши умственные способности.



Другие творят человека; я же только рассказываю о нем и изображаю личность, отнюдь не являющуюся венцом творения, и будь у меня возможность вылепить ее заново, я создал бы ее, по правде говоря, совсем иною.

Ценность души определяется не способностью высоко возноситься, но способностью быть упорядоченной всегда и во всем. Ее величие раскрывается не в великом, но в повседневном.

Здоровье подает мне советы и более радостные, и более полезные, чем те, которые мне может подать болезнь.

Наиважнейшая из наших особенностей — это умение приспосабливаться к самым различным обычаям… Лучшие души — те, в которых больше гибкости и разнообразия.

Большинству умов, чтобы встрепенуться и ожить, нужны новые впечатления; моему, однако, они больше нужны для того, чтобы прийти в себя и успокоиться.

Самые прекрасные движения нашей души — это наименее напряженные и наиболее естественные ее движения.

Сколь драгоценна помощь благоразумия для того, чьи желания и возможности оно приводит в соответствие между собой!

Я готов всячески превозносить того, чья душа состоит как бы из нескольких этажей… чувствует себя одинаково хорошо, куда бы судьба ее ни забросила, того, кто умеет поддерживать разговор с соседом о его постройке, охоте или тяжбе, оживленно беседовать с плотником и садовником; я завидую тем, кто умеет подойти к последнему из своих подчиненных и разговаривать с ним.

Нужно приспособляться к уровню тех, с кем находишься, и порой притворяться невеждой. Забудьте о выразительности и тонкостях; в повседневном обиходе достаточно толкового изложения мысли. Если от вас этого желают, ползайте по земле.

Не только в разговорах о новых законах наш дух раскрывает свою красоту и силу и не только тогда, когда речь идет о делах государей; он раскрывает те же самые качества и в непринужденных беседах на частные темы.

Благородная и повидавшая виды душа становится сама собой безупречно приятной. А наука

— не что иное, как протокол и опись творений, созданных подобными душами.

Когда врачи не могут справиться с воспалением, они отвлекают его и отводят в какую-нибудь другую, менее опасную область нашего тела. Я заметил, что этот прием чаще всего применяется и при болезнях души.

Только люди высшей породы способны постигать вещь во всей ее наготе, отчетливо видеть ее и исчерпывающе судить о ней.

Нужно приучить душу не поддаваться несчастьям и брать верх над ними, преподать ей правила добропорядочной жизни и добропорядочной веры, нужно как можно чаще тормошить ее и натаскивать к этой прекрасной науке; но душе заурядной необходимо, чтобы все это делалось с роздыхом и умеренностью, ибо от непрерывного и непосильного напряжения она теряется и шалеет.

Чем отчетливее и обоснованнее душеполезные размышления, тем они докучнее и обременительнее.

Наши учителя допускают ошибку, когда, исследуя причины поразительных взлетов нашего

духа и приписывая их божественному наитию, любви, военным невзгодам, поэзии или вину, забывают о телесном здоровье и не воздают ему должное.

Усиливаясь, телесные недуги становятся явными. И мы убеждаемся, что почитавшееся нами прострелом или ушибом — на самом деле подагра. Недуги души, набираясь сил, напротив, делаются все более темными и непонятными. И больной, охваченный тягчайшим из них, менее всего чувствует это. Вот почему следует почаще вытаскивать их на свет божий и ворошить беспощадной рукой, выискивать их и извлекать из глубин нашего сердца.



В отношениях между людьми нет, возможно, ничего увлекательнее, чем то соревнование чести и доблести, в которое мы вступаем друг с другом, упражняя свои физические и духовные силы.

В человеке, взваливающем на себя ношу, должно быть больше силы и мощи, чем требует его груз.

Успехом может зачастую увенчаться самое неосмысленное поведение.

Неразумно считать, будто разум человеческий может изменить его судьбу.

Тот, кто не осмеливается говорить о себе прямо, проявляет малодушие. Если он судит о вещах решительно и независимо, здраво и уверенно, то, не раздумывая, станет приводить примеры из своей личной жизни как нечто постороннее и о себе самом говорить так же беспристрастно, как о любом другом человеке.

Мы лепимся к тому, с чем мы свыклись. И в столь жалком положении, как наше, привычка — благословеннейший дар природы, притупляющий нашу чувствительность и помогающий претерпевать возможные бедствия.

Всякий обычай имеет свое основание.

Души возвышенные не меньше способны на низменные дела, чем низкие — на возвышенные.

Кто хорошо видит, в каком он долгу перед собою и сколько обязан для себя сделать, тот понимает, что природа возложила на него достаточно сложное и отнюдь не допускающее праздности поручение.

Занятость для известного сорта людей — доказательство их собственных дарований и их достоинств. Их дух успокаивает встряхивание, подобно тому как младенца — люлька.

Перенагружая душу множеством впечатлений, мы мешаем ей познавать и запечатлевать в себе познанное.

Нищете материальной нетрудно помочь, нищете души — невозможно.

Привычка — вторая природа и равна ей в могуществе.

Большинство наших занятий — лицедейство. Нужно добросовестно играть свою роль, но при этом не забывать, что это всего-навсего роль,

которую тебе поручили.

Мы стремимся только к соблюдению внешней благопристойности и вместе с тем отрекаемся от наших истинных побуждений и совершаем по отношению к ним предательство. Мы приукрашиваем действительность.

Терпеть не могу, чтобы наш дух призывали витать в облаках, в то время как наше тело сидит за столом.

Ни в чем не умеет человек ограничиться лишь тем, что ему необходимо. Любовных утех, богатства, власти — всего этого он хочет получить больше, чем в состоянии насладиться им. Алчность его не знает удержу.

Щадя себя, верь в то, что тебе больше по сердцу. Для чего предвосхищать беду и терять настоящее из страха перед будущим и быть несчастным сейчас, потому что должен стать им со временем?

Жаль было бы, если бы наши чувства и разум не полностью отдавали себе отчет в том, насколько они могущественны.

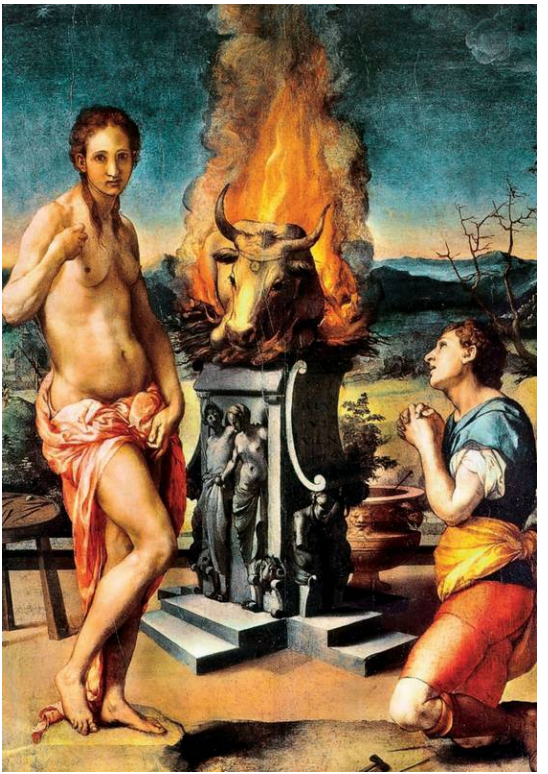
Люди отличаются друг от друга и способностями, и склонностями. Их следует вести к благу

разными путями, исходя из их нрава.

Наши удовольствия частенько испытывают друг к другу зависть и вражду: между ними происходят столкновения и распри.

Мне, преданному земной жизни, враждебна бесчеловечная мудрость, стремящаяся заставить нас презирать и ненавидеть заботу о своем теле.

Я прибегаю к помощи души, чтобы она полюбовалась собою в зеркале благоденствия, чтобы она смогла взвесить, оценить и обогатить миг блаженства.



Мужчина и женщина



Любовь — неистовое влечение к тому, что убегает от нас.

Пламя любви… неотступно… жгуче и томительно. Но это — пламя безрассудное и летучее, непостоянное и переменчивое, это — лихорадочный жар, то затухающий, то вспыхивающий с новой силой и гнездящийся лишь в одном уголке нашей души.

Наслаждение, сводясь к телесному обладанию и потому подверженное пресыщению, убивает любовь.

Человек, которого мы любим, кажется нам прекраснее, чем он есть на самом деле.

Сколько сладострастных забав порождается весьма скромными и пристойными рассуждениями о делах любви!

Сладострастие любит даже усиливать себя посредством боли; оно гораздо острее, когда обжигает и сдирает кожу.

Слабость, овладевающая нами вследствие холодности и отвращения к Венериным играм, возникает у нас также и от чрезмерных желаний и необузданной пылкости.

Вожделение и пресыщение в равной степени заставляют страдать нас и когда мы еще не достигли наслаждения, и когда мы пресекли его границы.

Желая оградить супругов от охлаждения любовного пыла, Ликург повелел спартанцам посещать своих жен не иначе, как только тайком, и найди их кто-нибудь вместе, это повлекло бы за собой такой же позор, как если бы то были люди, не связанные брачными узами. Трудности в отыскании надежных мест для встреч, опасность быть застигнутыми врасплох, страх перед ожидающим назавтра позором, это-то и создает острую приправу.

Влюбленные ссорятся, мирятся, благодарят, просят друг друга, условливаются и говорят друг другу — все одними только глазами.

Похоже на то, что мы не знаем, что такое природная красота и красота вообще, ибо приписываем человеческой красоте самые различные черты, а между тем, если б существовало какое-нибудь естественное представление о ней, мы все узнавали бы ее так же, как узнаем жар, исходящий от огня.

То, что мы видим так мало удачных браков, как раз свидетельствует о ценности и важности брака.

Те, кому приходится иметь дело с упрямыми женщинами, знают по опыту, в какое бешенство они приходят, если на их гнев отвечают молчанием и полнейшим спокойствием, не разделяя их возбуждения.

Жениться, ничем не связывая себя, — предательство.

Существует ли хоть что-нибудь, чего побоялись бы женщины, если есть хоть крошечная надежда, что это пойдет на пользу их красоте?

Что касается брака, то, не говоря уж о том, что он является сделкой, которая бывает добровольной лишь в тот момент, когда ее заключают (ибо длительность ее навязывается нам принудительно и не зависит от нашей воли), и сверх того, сделкой, совершаемой обычно совсем в других целях, в нем бывает еще тысяча посторонних обстоятельств… которых вполне достаточно, чтобы оборвать нить живого чувства.

Брак — священный и благочестивый союз; вот почему наслаждения, которые он нам приносит,

должны быть сдержанными, серьезными, даже в некоторой мере строгими. Это должна быть страсть совестливая и благородная.

Лучше всего ведет себя та женщина, о поведении которой ничего не знают и не слышат.

Неусыпная забота о целомудрии наших женщин приводит к тому, что когда мы говорим «хорошая женщина», «порядочная женщина»... то имеем в виду не что иное, как «целомудренная женщина», и похоже на то, что, стремясь заставить женщин быть целомудренными, мы придаем мало значения всем прочим их добродетелям и готовы простить им любой порок, лишь бы они за то соблюдали целомудрие.



Жены всегда склонны перечить мужьям. Они используют любой повод, чтобы поступить наоборот, и малейшее извинение для них равносильно уже полнейшему оправданию.

Я нахожу неразумным, когда человек, дела которого идут хорошо, ищет себе жену с большим приданым: деньги со стороны всегда приносят беду в семью.

Взбалмошной женщине ничего не стоит менять свои намерения. Женщины больше всего довольны собой в тех случаях, когда они кругом неправы. Неправота привлекает их, подобно тому как хороших женщин подстрекает честь их добродетельных поступков; чем они богаче, тем они добрее, и, подобно этому, чем они красивее, тем более склонны к целомудрию.

Мне представляется, что при всех условиях мужчины не должны находиться в подчинении у женщин — за исключением естественного подчинения материнской власти.

Даже вожделение, испытываемое нами к женщине, направлено лишь к стремлению избавиться от мучения, порождаемого пылким и неистовым желанием; мы жаждем лишь уто-

лить его и успокоиться, освободившись от этой лихорадки.

То обстоятельство, что привычка вызывает у нас охлаждение между супругами, является неопровержимым доказательством нашего несовершенства.

И чем иным объясняется то, что мы наблюдаем повседневно, а именно, что люди совсем необразованные и неотесанные являются наиболее подходящими и пригодными для любовных утех, что любовь какого-нибудь погонщика мулов оказывается иногда более желанной, чем любовь светского человека, — как не тем, что у последнего душевное волнение подрывает его физическую силу, ослабевает и подтачивает ее?

Те болезненные причуды и влечения, которые проявляются у женщин во время беременности, таятся в их душах всегда. Сплошь и рядом видишь, что они особенно привязываются к детям более слабым и обиженным природой или к тем, которые еще сидят у них на шее.

Стыдливость, по мнению некоторых, есть вещь относительная, и решение вопроса о том, следует ли такие вещи скрывать, утаивать и обходить

молчанием, зависит от точки зрения. Отличным примером может служить сладострастие под маской добродетели, которому выгоднее, чтобы его не выставляли напоказ толпе на улицах и площадях, подвергая публичному позору, а предлагали ему ютиться в укромных уголках.

И желание, и обладание в равной мере тягостны нам. Целомудрие любовниц несносно; но чрезмерная доступность и уступчивость их, говоря по правде, еще несноснее.

Некоторые утверждают, что уничтожить публичные дома значит не только повсеместно распространить разврат, который до этого сосредоточен был в определенных местах, но что это еще значит способствовать разжиганию у мужчин влечения к пороку с помощью создания на их пути препон.

Досада и раздражение возникают из высокой оценки того, что вызывает наше желание, ибо она обостряет и распаляет любовь; однако обладание вдосталь порождает в нас холодность, и страсть становится вялой, притупленной, усталой и дремлющей.

Почему женщины скрывают до самых пят те

прелести, которые каждая хотела бы показать и которые каждый желал бы увидеть? Почему под столькими покровами… таят они те части своего тела, которые главным образом и являются предметом наших желаний, а следовательно, и их собственных? Для чего… если не для того, чтобы дразнить наши вожделения и, отдаляя нас от себя, привлекать к себе?

К чему эти уловки девического стыда, эта неприступная холодность, это строгое выражение в глазах и на всем лице, это подчеркнутое неведение тех вещей, которые они знают лучше нас с вами… если не для того, чтобы разжечь в нас желание победить, преодолеть, разметать все эти церемонии и преграды, мешающие удовлетворению нашей страсти?



Не только наслаждение, но и гордое сознание, что ты соблазнил и заставил безумствовать эту робкую нежность и ребячью стыдливость, обуздал и подчинил своему любовному экстазу холодную и чопорную бесстрастность, одержал верх над скромностью, целомудрием, сдержанностью, — в этом, по общему мнению, для мужчины и в самом деле великая слава; и тот, кто советует женщинам отказаться от всего этого, совершает предательство и по отношению к ним, и по отношению к себе самому.

Нужно верить, что сердце женщины трепещет от ужаса, что наши слова оскорбляют ее чистый слух… и она уступает лишь нашему грубому натиску, склоняясь перед насилием. Красота, сколь бы могущественной она ни была, без этого не в состоянии заставить поклоняться себе.

Полностью устранив возможность развода, мы думали укрепить этим брачные узы; но затянув узы, налагаемые на нас принуждением, мы в той же мере ослабили и обесценили узы, налагаемые доброй волей и чувством.

В древнем Риме, напротив, средством, поддерживавшим устойчивость браков… была неограниченная свобода их расторжения для

каждого выразившего такое желание; поскольку у римлян существовала опасность потерять своих жен, они окружали их большей заботой, нежели мы.

Я не советую женщинам именовать своей честью то, что в действительности является их прямым долгом; их долг — это так сказать, сердцевина, их честь — их внешний покров. И я также не советую им оправдывать свой отказ пойти нам навстречу ссылкою на нее, ибо я наперед допускаю, что их склонности, их желания и их воля, к которым… честь не имеет ни малейшего отношения, еще более скромны.

Желать — не меньшее оскорбление бога и собственной совести, чем совершать самый поступок. И поскольку дела подобного рода прячутся от всех и творятся тайно, то, не чти женщины своего долга и не уважай целомудрия, для них не составило бы большого труда начисто скрыть какое-нибудь из них от постороннего взора и сохранить таким образом свою честь незапятнанной. Однако честный человек предпочтет скорее расстаться со своей честью, чем с чистой совестью.

Страсть влюбленного наделяет предмет его

обожания красотой и прелестью, приводя к тому, что, охваченный ею, он под воздействием обманчивого и смутного чувства видит того, кого любит, другим и более совершенным.

Приличия запрещают нам обозначать соответствующими словами вещи дозволенные и совершенно естественные — и мы беспрекословно подчиняемся этому; разум запрещает нам творить недозволенное и то, что дурно, — и никто этому запрету не подчиняется.

Наша жизнь — это сплошная забота о приличиях; они опутали нас и заслонили собой самую сущность вещей… Мы научили женщин краснеть при малейшем упоминании о всех тех вещах, делать которые им ни в какой мере не зазорно; мы не смеем называть своим именем некоторые из наших органов, но не постыдимся пользоваться ими, предаваясь худшим видам распутства.

Я очень явственно ощущаю, насколько стеснительны для меня… законы, налагаемые приличием, ибо они не дозволяют нам говорить о себе ни что-либо хорошее, ни что-либо дурное.

Некоторые философы считают самыми неистовыми страсти, порождаемые любовью, ссылаясь

в подкрепление своей точки зрения на то, что они завладевают и душой и телом, заполняя человека целиком, так что даже здоровье его начинает зависеть от них и медицина иной раз вынуждена выступать тут в роли посредницы.

Иногда легче обходиться вообще без женщин, чем вести себя во всех отношениях должным образом со своей женой.

Всем известно, что хороших женщин не так-то много, не по тринадцать на дюжину, а в особенности мало примерных жен. Ведь брак таит в себе столько шипов, что женщине трудно сохранить свою привязанность неизменной в течение долгих лет.



Откровенная речь, подобно вину и любви, вызывает в ответ такую же откровенность.

В старости мы лишь изредка предаемся любовным утехам, и после них нас охватывает глубокое пресыщение; тут совесть, по-моему, ни при чем: горесть слабости навязывает нам трусливую и хлипкую добродетель.

Молодость и ее радости не могли в свое время скрыть от меня печати порока на сладострастии; так и ныне пришедшая ко мне с годами пресыщенность не может скрыть от меня печати сладострастия на пороке.

Сладострастие как таковое не становится бесцветным и бледным, сколь бы воспаленными и затуманенными ни были созерцающие его глаза. Следует любить воздержание само по себе и из уважения к Богу, который нам заповедовал его, следует любить целомудрие.

Нельзя похваляться презрением к сладострастию и победой над ним, если не испытываешь его, не знаешь его и его обольщений, и его мощи, и его бесконечно завлекательной красоты.

Дамы прячут свою красоту под покровом чужой красоты. А ведь это великое недомыслие — гасить

свое собственное сияние, чтобы излучать свет, заимствованный извне; они погребли и скрыли себя под грудами ухищрений.

Хватит с милых дам и того, что они умеют без нашей помощи придавать своим глазам прелесть веселости, нежности и суровости, вкладывать в свое «нет» строгость, колебание и благосклонность и понимают без толмача страстные речи, обращенные к ним их поклонниками. Владея этой наукой, они повелевают всем миром.

Безрассудно отдавать страсти все свои помыслы и вкладывать в отношения с женщинами безудержное и безграничное чувство. Но с другой стороны, домогаться их без влюбленности и влечения сердца, уподобляясь актерам на сцене… означает предусмотрительно оберегать свою безопасность, делая это, однако, крайне трусливо, как тот, кто готов отказаться от своей чести, своей выгоды или своего удовольствия из страха перед опасностью.

Нужно по-настоящему жаждать тех удовольствий, которыми хочешь по-настоящему наслаждаться.

Нет такой женщины, которая не поверила бы с

легкостью первой же клятве своего любовника.

За общераспространенным и привычным для нашего века мужским вероломством не может не следовать то, что уже ощущается нами на опыте, а именно, что женщины теснее сплачиваются между собой и замыкаются в себе или своем кругу, дабы избегать общения с нами, или, подражая примеру, который мы им подаем, в свою очередь лицедействуют и идут на сделку без страсти, без колебаний и без любви.

Те, кто сотворил из Венеры богиню, немало пеклись о том, чтобы главное и основное в ее красоте было бестелесное и духовное; но любовь, за которой гоняются люди, не только не может быть названа человеческой, ее нельзя назвать даже скотскою.

По совести говоря, если бы оказалось, что надо обязательно выбирать между телесной и духовной красотой, я предпочел бы скорее пренебречь красотою духовной: она нужна для других лучших вещей; но если дело идет о любви, той самой любви, которая теснее всего связана со зрением и осязанием, то можно достигнуть кое-чего и без духовных прелестей, но ничего — без телесных.

Красота — могучая сила женщины.

В чем повинен перед людьми половой акт — столь естественный, столь насущный и столь оправданный, — что все как один не решаются говорить о нем без краски стыда на лице и не позволяют себе затрагивать эту тему в серьезной и благопристойной беседе? Мы не боимся произносить: убить, ограбить, предать, — но это запретное слово застревает у нас на языке... Нельзя ли отсюда вывести, что чем меньше мы употребляем его в наших речах, тем больше останавливаем на нем наши мысли?

Я полностью разделяю мнение Аристотеля, который сказал, что стыдливость украшает юношу и пятнает старца.



Кто отнимет у муз любовные вымыслы, тот похитит у них драгоценнейшее из их сокровищ; а кто заставит любовь отказаться от общения с поэзией и от ее помощи и услуг, тот лишит ее наиболее действенного оружия.

Поэзии как-то удается рисовать образы более страстные, чем сама страсть.

Любовь не терпит, чтобы руководствовались чем-либо, кроме нее, и она с большой неохотой примешивается к союзам, которые установлены и придерживаются в других видах и под другим наименованием; именно таков брак: при его заключении родственные связи и богатство вполне правильно оказывают влияние нисколько не меньшее, если не большее, чем привлекательность и красота.

Что бы ни говорили, женятся не для себя; женятся нисколько не меньше, если не больше, ради потомства, ради семьи. От полезности и выгодности нашего брака будет зависеть благоденствие наших потомков долгое время после того, как нас не станет. Потому-то мне и нравится, что браки устраиваются скорее чужими руками, чем собственными, и скорее разумением третьих лиц, чем своим.

Ни одна женщина, которой брак пришелся по вкусу, не пожелала бы поменяться местами с любовницей или подругой своего мужа.

Слишком бурное наслаждение, жгучее и постоянно возобновляемое, портит мужское семя и тем самым затрудняет зачатие; с другой стороны, мудрецы указывают также на то, что при сближении, полном ласки и нежности, — а только такое и отвечает природе женщины, — чтобы вызвать в ней подлинную и плодоносную пылкость, нужно посещать ее редко и с изрядными перерывами.

Мне неведомы браки, которые распадались бы с большей легкостью или были бы сопряжены с большими трудностями, нежели заключенные из-за увлечения красотой или по причине влюбленности. В этом деле требуются более устойчивые и прочные основания.

Удачный брак, если он вообще существует, отвергает любовь и все ей сопутствующее; он старается возместить ее дружбой. Это — не что иное, как приятное совместное проживание в течение всей жизни, полное устойчивости, доверия и бесконечного множества весьма осязательных взаимных услуг и обязанностей.

Мы не можем обойтись без брака, и вместе с тем мы его принижаем. Здесь происходит то же, что наблюдается возле клеток: птицы, находящиеся на воле, отчаянно пытаются проникнуть в них; те же, которые сидят взаперти, так же отчаянно стремятся выйти наружу.

Для прочного брака необходимо сочетание многих качеств. В наши дни он приносит больше отрады людям простым и обыкновенным, которых меньше, чем нас, волнуют удовольствия, любопытство и праздность.

Свою свободу следует ревниво оберегать, но связав себя обязательствами, нужно подчиняться законам долга, общим для всех, или, во всяком случае, прилагать усилия к этому. Кто заключает подобную сделку с тем, чтобы привнести в нее ненависть, тот поступает несправедливо и недостойно.

Лишь немногие из мужчин, женившихся на своих прежних подругах, не раскаивались в содеянном.

Я с чувством досады смотрел на мужей, которые ненавидят жен лишь потому, что сами грешны перед ними; а их, по-моему, не следует меньше

любить из-за нашей вины; хотя бы вследствие нашего раскаяния и сострадания они должны сделаться нам дороже, чем были.

Цели, преследуемые любовью и браком, различны, и все же они некоторым образом совместимы друг с другом. За браком остаются его полезность, оправданность, почтенность и устойчивость; наслаждение в браке вялое, но более всеохватывающее. Что до любви, то она зиждется исключительно на одном наслаждении, и в ее лоне оно и впрямь более возбуждающее, более пылкое, более острое, — наслаждение, распаляемое стоящими перед ним преградами.


PELLE · CVPIDINEOS · TOTO
NE · TVA · POSSIDEAT
CONAMINE · LVCVS
PECTORA · CECA · VENVS

В чем нет ранящих стрел и огня, то совсем не любовь.

Женщины нисколько не виноваты в том, что порою отказываются подчиняться правилам поведения, установленным для них обществом, — ведь эти правила сочинили мужчины, и притом безо всякого участия женщин.

Пусть женщины отбросят стеснение и развяжут свои язычки, и сразу же нам станет ясно, что в познаниях определенного рода мы по сравнению с ними сущие дети. Послушайте, как они судачат о наших ухаживаниях и о разговорах, которые мы с ними ведем, и вы поймете, что мы не открываем им ничего такого, чего бы они не знали и не переварили в себе без нас.

Всякое побуждение в нашем мире направлено только к спариванию и только в нем находит себе оправдание; этим влечением пронизано решительно все, это средоточие, вокруг которого все вращается.

До чего же несправедлива оценка пороков! И мы сами, и женщины способны на тысячи проступков, которые куда гаже и гнуснее, чем любострастие; но мы рассматриваем и оцени-

ваем пороки не соответственно их природе, а руководствуясь собственной выгодой, от чего и проистекает такая предвзятость.

Я считаю, что легче всю жизнь, не снимая, носить доспехи, чем тяжкое бремя девственности.

Порядочный человек, встретив отказ, не прекратит своих домогательств, если причина отказа — целомудрие, а не иной выбор.

Нет приманки неотразимее, чем женская скромность.

Женщины могут допускать наши ухаживания лишь до определенных пределов и вместе с тем, нисколько не унижая своего достоинства, дать нам почувствовать, что отнюдь не гнушаются нами.

Вы хотите знать, какое впечатление оставили в сердце женщины ваши ухаживания и ваши достоинства? Соразмеряйте свой успех с ее нравственностью. Иная, давая очень немного, дает очень много.

Наша чрезмерная и несправедливая нетерпимость к разбираемому пороку вызывается самой глупой и беспокойной болезнью, которую только

порождают людские души, а именно ревностью.

Ревность, равно как и зависть, ее сестра, кажутся мне самыми нелепыми из всех пороков… Подобно некоторым диким народам, мы достигли крайних степеней это горячки.

Всякому, кто спросит меня, что всего важнее в любви, я отвечу: уметь выбрать мгновение; второе по степени важности — то же, и то же самое — третье. Ибо в этом случае все возможно.

Я суеверно боялся нанести оскорбление женщинам, и я всей душой уважаю то, что люблю. Не говоря уж о том, что это такой товар, который теряет свой блеск и тускнеет, если не относиться к нему с должным почтением.

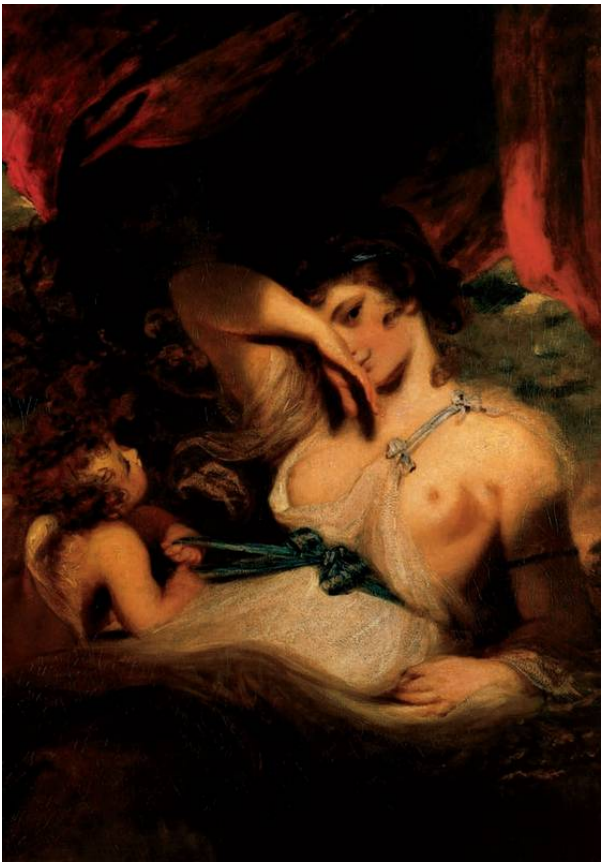
Уловки и хитрости в делах любовных способны обмануть только глупцов. Лжи в этих делах принадлежит почетное место — это окольный путь, ведущий нас к истине через заднюю дверь.

Каждый из нас сделал кого-нибудь рогоносцем, но природа только на том и держится, что уподобляет, уравновешивает и чередует. Широчайшее распространение случаев этого рода должно ослабить в дальнейшем их горечь — ведь они, можно сказать, стали почти обыденны.

Тот, кто сказал, что удачные браки заключаются только между слепою женой и глухим мужем, поистине знал толк в этих делах.

Любовь, в конце концов, не что иное, как жажда вкусить наслаждение от предмета своих желаний, а радость обладания — не что иное, как удовольствие разгрузить свои семенные вместилища, и что оно делается порочным только в случае неумеренности или нескромности.

Любить тело без его согласия и желания — то же самое, что любить тело без души или без чувств.



Для Сократа любовь — это стремление к продолжению рода при посредстве и с помощью красоты. Но если обдумать все, сопутствующее ей… я считаю, что Платон прав, утверждая, что человек — игрушка богов… и что природа насмешки ради оставила нам это самое шалое и самое пошлое из наших занятий, дабы таким способом сгладить различия между нами и уравнять глупого с мудрым и всех нас с животными.

Во всем другом вы можете соблюдать известную благопристойность; все прочие ваши занятия готовы подчиниться правилам добропорядочности, но это — его и представить нельзя иначе, как распутным или смешным. Попытайтесь-ка ради проверки найти в нем хоть что-нибудь разумное и скромное!

С одной стороны, природа, связав с этим желанием самое благородное, полезное и приятное изо всех своих дел, толкает нас на сближение с женщинами; однако, с другой стороны, она же заставляет нас поносить его и бежать от него, и видеть в нем нечто постыдное и бесчестное, и краснеть, и проповедовать воздержание.

Кто говорит все без утайки, тот насыщает нас до отвала и отбивает у нас аппетит; кто, однако,

боится высказать все до конца, тот побуждает нас присочинять то, чего не было… И в делах любви, и в изображении их должна быть легкая примесь мошенничества.

Нет для женщины ничего опаснее и страшнее, чем наше господство и безраздельное обладание ею: едва они отдают себя во власть нашей честности и нашего постоянства, как их участь делается сомнительной и незавидной. Это — добродетели редкие, и соблюдать их до крайности трудно; как только женщина становится нашей, мы перестаем ей принадлежать.

Если женщины сдаются с легкостью и поспешностью, не оказывая сопротивления, — это свидетельствует об их жадности к наслаждению, а им подобает скрывать ее со всем их искусством и ловкостью. Распределяя свои дары умеренно и последовательно, они гораздо успешнее распаляют наши желания и прячут свои.

Мы почти во всем — несправедливые судьи совершаемых женщинами поступков, как и они — наших.

Самая зверская из наших болезней — это презрение к своему естеству.

Потребность любить, не находя естественного выхода, создает, лишь бы не прозябать в праздности, привязанности вымышленные и вздорные.

Испытав наши объятия, женщины порой находят, что мы недостойны быть их избранниками… мужское бессилие и недостаточность служат законными поводами к разводу.

Природа любви не терпит, чтобы она была лишена пылкости, а природа пылкости — чтобы любовь была прочной.

Было бы, пожалуй, более странным, если бы любовь могла оставаться неизменною: ведь это не просто телесная страсть; если нет предела алчности и честолюбию, то точно так же нет предела и распутству.

Откуда может проистекать то присвоение нами верховной власти, которое мы позволяем себе по отношению к женщинам?.. Супружество — это ведь свободное соглашение; так на каком основании мы не считаем для себя обязательным выполнять его так же, как хотим, чтобы его выполняли женщины?

Я не покупал наслаждение любой ценой, я платил за него не больше, чем оно действительно

стоило.

Любовь — бодрое, оживленное, веселое возбуждение; она никогда не вселяла в меня тревогу, и я никогда от нее не терзался; я бывал ею разгорячен, и она вызывала у меня жажду: на этой черте и следует останавливаться.

Любовь вредна лишь глупцам.

Наше усердие в любовных делах, наш опыт, наша привычка — все это пути, ведущие нас к бессилию; властители любви — новички.



Кто может срывать цветы удовольствия, ничего не давая взамен, в том нет ни капли благородства: это возможно только для человека с низкой душой, всегда берущего в долг, никогда не отдавая.

Конечно, любовь для нас более обольстительна, когда к ней примешиваются волнения и неожиданности; наши промахи и неудачи придают ей остроту и прелесть; лишь бы она было горячей и жадной, а благоразумна ли она, это неважно.

Невоздержанность — чума для наслаждения, а воздержанность отнюдь не бич его, а наоборот — украшение.

Я требую от замужней женщины, кроме всех других добродетелей, и хозяйственности, которая тоже есть добродетель.

В те мгновения, когда нас охватывает живая и жгучая страсть, мы не способны изливаться в жалобах и мольбах: наша душа отягощена глубокими мыслями, а тело подавлено и томится любовью.

Каждый познал на опыте, что постоянное пребывание вместе не доставляет того удовольствия, какое испытываешь, то разлучаясь, то снова встречаясь.

Мужчины и женщины вылеплены из одного теста; если отбросить воспитание и обычаи, то разница между ними невелика.

Те, кому приходится иметь дело с упрямыми женщинами, знают по опыту, в какое бешенство они приходят, если на их гнев отвечают молчанием и полнейшим спокойствием.

Любовь — и вправду занятие непристойное, постыдное и недозволенное; но если не выходить из указанных мною рамок, она, по-моему, делается целительной, способной расшевелить отяжелевшие ум и тело; и будь я врачом, я бы с такой готовностью, как и всякие другие лекарства, прописывал ее людям моего сложения и образа жизни, дабы возбуждать и поддерживать их в пожилом возрасте и тем самым замедлить наступление старости.

Наружность мужчины служит весьма малым ручательством за него, но тем не менее она представляет нечто значительное.

Из насилий, чинимых над совестью, наиболее следует избегать, на мой взгляд, тех, которые наносятся женской чести.

Наслаждение и обладание опираются главным

образом на воображение. А оно с большим пылом влечется к тому, чего жаждет, чем к тому, что находится в наших руках.

Я предпочитаю общение с дамами наедине. На глазах у всего света оно менее радостно и менее сладостно.

То, что мы называем непристойностью, а именно вещи, которые мы не решаемся делать явно, а делаем тайно, люди раньше называли глупостью, считая пороком замалчивать и как бы осуждать то, чего от нас требуют природа, обычай и наши желания.

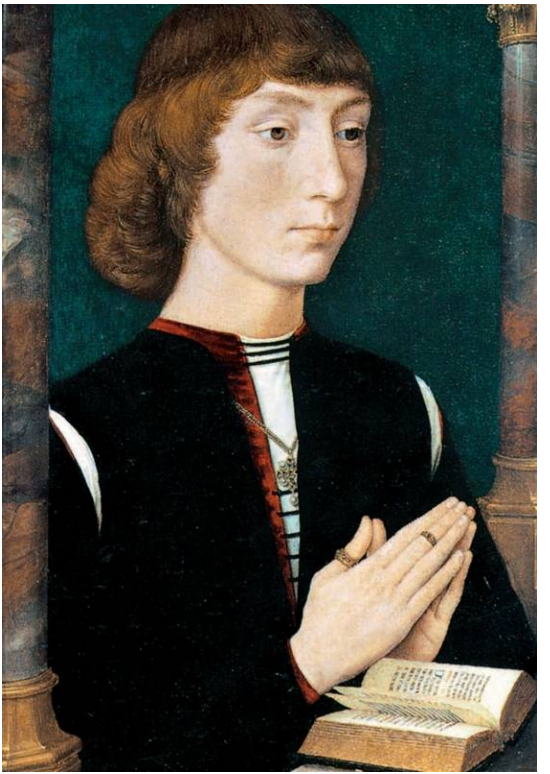
Вмешательство тела в наши страсти до известной степени снижает и ослабляет их, ибо такого рода желания утоляются, их можно удовлетворить материальным путем.

Сон гасит и подавляет способности нашей души, половое сближение также рассеивает и поглощает их.

Желая сдержать и покорить страсть, я когда-то пытался держать себя в узде; но я чувствовал, как она зарождается, растет и ширится, несмотря на мое сопротивление, и под конец, хотя я все видел и все понимал, она… овладела мною до такой сте-

пени, что, точно под влиянием опьянения, вещи стали представляться мне иными, чем обычно, и я ясно видел, как увеличиваются и вырастают достоинства существа, к которому устремлялись мои желания… как мой разум и мое сознание отступали на задний план. Но лишь только погасло это любовное пламя, как в одно мгновение душа моя, словно при вспышке молнии, увидела все в ином свете.

Чувства обладают способностью повелевать нашим разумом и душой.



Воспитание и дружба



Недостаточно, чтобы воспитание только не портило нас, — нужно, чтобы оно изменяло нас к лучшему.

Я осуждаю всякое насилие при воспитании юной души, которую растят в уважении к чести и свободе. В суровости и принуждении есть нечто рабское, и я нахожу, что то, чего нельзя сделать с помощью разума, осмотрительности и умения, никак нельзя добиться силой.

Я наблюдал только такое действие розги — она или притупляет, или озлобляет.

Тому, кто не постиг науки добра, всякая иная наука приносит лишь вред.

…**С**амое главное — это прививать вкус и любовь к науке; иначе мы воспитаем просто ослов, нагруженных книжной премудростью.

Игры детей — вовсе не игры, и правильнее смотреть на них как на самое значительное и глубокомысленное занятие этого возраста.

Одна и та же вещь… может заставить и смеяться и плакать не только детей, с непосредственностью следующих во всем природе, но зачастую и нас самих.

Способность снизойти до влечений ребенка и руководить ими присуща лишь душе возвышенной и сильной.

Если учителя, как это обычно у нас делается, просвещают своих многочисленных учеников, преподнося им всем один и тот же урок и требуя от них одинакового поведения, хотя способности их вовсе не одинаковы, то нет ничего удивительного, что среди огромной толпы детей найдется всего два или три ребенка, которые извлекают настоящую пользу из подобного преподавания.

Пусть наставник заставляет ученика как бы просеивать через сито все, что он ему преподносит, и пусть ничего не вдалбливает ему в голову, опираясь на свой авторитет и влияние.

Пусть наставник расскажет своему питомцу, что означает: знать и не знать; какова цель познания; что такое храбрость, воздержанность, справедливость; в чем различие между жадностью и честолюбием, рабством и подчинением, распущенностью и свободой… до каких пределов допустимо страшиться смерти, боли или бесчестия… какие пружины приводят нас в действие и каким образом в нас возникают столь разнообразные побуждения.

Приемы, к которым обращаются в земледелии до посева, хорошо известны, и применение их не составляет труда, как, впрочем, и самый посев... То же самое и с людьми: невелика хитрость посеять их; но едва они появились на свет, как на нас наваливается целая куча самых разнообразных забот, хлопот и тревог — как же их вырастить и воспитать.

Почтительность, которою окружает ребенка челядь, а также его осведомленность о богатстве и величии своего рода являются немалыми помехами в правильном воспитании детей.

Я нахожу, что наихудшие наши пороки зарождаются с самого нежного возраста и что наше воспитание зависит главным образом от наших нянюшек и кормилиц.

Обыкновение извинять... отвратительные наклонности легкомыслием, свойственным юности, и незначительностью проступков, весьма и весьма опасно.

Нужно настойчиво учить детей ненавидеть пороки как таковые; нужно, чтобы они воочию видели, насколько эти пороки уродливы, и избегали их не только в делах своих, но и в сердце

своем.

Трудно преобразовать то, что вложено в человека самой природой. От этого и происходит то, что, вследствие ошибки в выборе правильного пути, зачастую даром тратят труд и время на натаскивание детей в том, что они не в состоянии как следует усвоить.

В медвежатах и щенках сказываются их природные склонности; люди же, быстро усваивающие привычки, чужие мнения и законы, легко подвержены переменам и к тому же скрывают свой подлинный облик.



Ребенка из хорошей семьи обучают наукам, имея в виду воспитать из него не столько ученого, сколько просвещенного человека, не ради заработка и не для того, чтобы были соблюдены приличия, но для того, чтобы он чувствовал себя тверже, чтобы обогатил и украсил себя изнутри.

Согласно наставлению Платона, «детям нужно определять место в жизни не в зависимости от способности их отца, но от способностей их души».

Нам без отдыха и срока жужжат в уши, сообщая разнообразные знания, в нас вливают их, словно в воронку, и наша обязанность состоит лишь в повторении того, что мы слышали. Я хотел бы, чтобы воспитатель отказался от этого обычного приема и чтобы с самого начала, сообразуясь с душевными склонностями доверенного ему ребенка, предоставил ему возможность свободно проявлять эти склонности, предлагая ему изведать вкус различных вещей, выбирать между ними и различать их самостоятельно, иногда указывая ему путь, иногда, напротив, позволяя отыскать дорогу самому.

Я не хочу, чтобы наставник один все решал и только один говорил; я хочу, чтобы он слушал

также своего питомца.

...**П**усть ваши дети приучаются и привыкают к воздержанию и простоте, пусть они лучше идут от суровой жизни к легкой, чем обратно.

Пусть учитель спрашивает с ученика не только слова затверженного урока, но смысл и самую суть его, и судит о пользе, которую он принес, не по показаниям памяти своего питомца, а по его жизни.

Пусть учитель, объясняя что-нибудь ученику, покажет ему это с сотни разных сторон и применит к множеству различных предметов, чтобы проверить, понял ли ученик как следует и в какой мере усвоил это.

Кто рабски следует за другим, тот ничему не следует. Он ничего не находит, да ничего и не ищет.

Большое это дело — так направить ничем не запятнанное воображение ребенка, не угнетая его и не напрягая, чтобы оно могло порождать самые прекрасные душевные движения.

Страдание, наслаждение, любовь, ненависть — вот первые ощущения, доступные ребенку.

Если со вступлением разума в свои права эти чувства подчиняются ему, возникает то, что мы именуем добродетелью.

Пчелы перелетают с цветка на цветок для того, чтобы собрать нектар, который они целиком претворяют в мед. Точно так же и то, что человек заимствует у других, будет преобразовано и переплавлено им самим, чтобы стать его собственным творением, то есть собственным его суждением. Его воспитание, его труд, его ученье служат лишь одному: образовать его личность.

Многие наставники хотят образовать нам ум, не будоража его. Можно ли научить управлять конем, владеть копьем, лютней или голосом, не заставляя изо дня в день упражняться в этом, подобно тому, как некоторые хотят научить нас здравым рассуждениям и искусной речи, не заставляя упражняться ни в рассуждениях, ни в речах? А между тем при воспитании в нас этих способностей всё, что представляется нашим глазам, стоит назидательной книги.

Я бы посоветовал посылать нашу молодежь за границу в возможно более раннем возрасте и, чтобы одним ударом убить двух зайцев, именно к тем из наших соседей, чья речь наименее близка

к нашей, так что если не приучить к ней свой язык смолоду, то потом уж никак ее не усвоить.

Неразумно воспитывать ребенка под крылышком у родителей. Вложенная в последних самой природой любовь внушает даже самым разумным из них чрезмерную мягкость и снисходительность. Они не способны ни наказывать своих детей за проступки, ни допускать, чтобы те узнали тяжелые стороны жизни, подвергаясь некоторым опасностям.

Авторитет воспитателя, который для ученика должен быть непререкаемым, страдает и расшатывается от… влияния родителей.

В сотовариществе с другими и дети проявляют мужество.



Недостаточно закалять душу ребенка; столь же необходимо закалять и его тело. Наша душа слишком перегружена заботами, если у нее нет должного помощника, на нее тогда возлагается непосильное бремя, так как она несет его за двоих.

…**О**сознание ребенком, насколько велик и богат род, к которому он принадлежит, является, на мой взгляд, серьезными помехами в его воспитании.

Что до той школы, которой является общение с другими людьми, то тут я нередко сталкивался с одним обычным пороком: вместо того, чтобы стремиться узнать других, мы хлопочем только о том, как бы выставить напоказ себя.

Пусть он (ребенок) избегает придавать себе заносчивый и надменный вид, избегает ребяческого тщеславия, состоящего в желании выделяться среди других и прослыть умнее других, пусть не стремится прослыть человеком, который бранит все и вся и пыжится выдумать что-то новое. Подобно тому как лишь великим поэтам пристало разрешать себе вольности в своем искусстве, так лишь великим и возвышенным душам дозволено ставить себя выше обычая.

Ребенка следует приучать к тому, чтобы он был бережлив и воздержан в расходовании знаний, которые он накопит, чтобы он не оспаривал глупостей и вздорных выдумок, высказанных в его присутствии, ибо весьма невежливо отвергать то, что нам не по вкусу.

Следует научить ребенка вступать в беседу или в спор только в том случае, если он найдет, что противник достоин подобной борьбы… Надо приучить его тщательно отбирать доводы, отдавая предпочтение наиболее точным, а следовательно, и кратким. Но, прежде всего, пусть научат его склоняться перед истиной и складывать перед ней оружие, лишь только он увидит ее — независимо от того, открылась ли она его противнику или озарила его самого.

Пусть совесть и добродетели ученика находят отражение в его речи и не знают иного руководителя, кроме разума.

Оценивая достоинства и свойства каждого (человека), юноша воспитывает в себе влечение к его хорошим чертам и презрение к дурным.

Врожденные склонности искоренить невозможно; их прикрывают, прячут, но не больше.

Пусть в душе ребенка пробудят благородную любознательность, пусть он осведомляется обо всем без исключения, пусть осматривает все примечательное, что только ему ни встретится.

Обратившись к истории, юноша будет общаться с великими душами лучших веков.

У философии есть свои рассуждения как для тех, кто вступает в жизнь, так для дряхлых старцев.

Поскольку философия учит жизни и детский возраст совершенно так же нуждается в подобных уроках, как все прочие возрасты, — почему бы не приобщить к ней и детей?

Обучение должно основываться на соединении строгости с мягкостью.

Природные склонности развиваются и укрепляются при помощи воспитания, но изменить и преодолеть их нельзя.

Приучайте ребенка к поту и холоду, к ветру и жгучему солнцу, ко всем опасностям, которые ему надлежит презирать; отвадьте его от изнеженности и разборчивости; пусть он относится с безразличием к тому, во что одет, на какой постели спит, что ест и что пьет: пусть он привыкает

решительно ко всему. Пусть не будет он маменькиным сынком, похожим на изнеженную девицу, но пусть будет сильным и крепким юношей.

Где для детей польза, там же должно быть для них и удовольствие. Когда кормишь ребенка, полезные для него кушанья надо подсахаривать, а к вредным примешивать желчь.

… **Я** считаю более приличным и более здоровым, чтобы дети начинали пить вино лишь после того, как им минет шестнадцать — восемнадцать лет.



Пока еще тело гибко, его нужно упражнять на все лады. И если воля и вкусы нашего юноши окажутся податливыми, нужно смело приучать его к образу жизни любого круга людей и любого народа, даже при случае, к беспутству и излишествам, если это окажется нужным. Пусть он приспосабливается к обычаям своего времени. Он должен уметь делать все без исключения, но должен любить делать только хорошее.

И путь он (юноша) никому не причиняет вреда не по недостатку возможностей и умения, а лишь по недостатку злой воли.

Пусть юноша научится не столько отвечать уроки, сколько претворять их в жизнь.

Что до привязанности детей к родителям, то это скорее уважение. Дружба питается такого рода общением, которого не может быть между ними в силу слишком большого неравенства в летах, и к тому же она мешала бы иногда выполнению детьми их естественных обязанностей.

Отцы не могут посвящать детей в свои самые сокровенные мысли, не порождая тем самым недопустимой вольности, как и дети не могут обращаться к родителям с предупреждениями

или увещеваниями, что есть одна из первейших обязанностей между друзьями.

Если существует… некое исконное и всеобщее влечение, свойственное и животным и людям, то, по-моему, на следующем месте после присущего всем животным стремления оберегать себя… стоит любовь родителей к своему потомству. И так как природа как бы приписала ее нам с целью содействовать дальнейшему плодотворному развитию вселенной, то нет ничего удивительного в том, что обратная любовь к родителям не столь сильна.

Чаще всего мы больше радуемся детским играм, шалостям и проделкам наших детей, чем их вполне сознательным поступкам в зрелом возрасте, словно бы мы их любили для нашего развлечения как мартышек, а не как людей.

Я не порицаю того, кто меньше любит своего ребенка, потому что он покрыт паршею, и не только тогда, когда тот коварен и злобен, но и тогда, когда он попросту несчастлив и жалок, лишь бы при этом охлаждении чувств соблюдалась мера и должная справедливость. По мне, кровная близость не сглаживает недостатков, напротив, она их, скорее, подчеркивает.

Бесплодие также имеет свои преимущества. Дети — из числа тех вещей, которых не приходится так уж пламенно жаждать, и особенно в наши дни, когда столь трудно воспитать их добропорядочными, а вот оплакивать их потерю тем, у кого они были, приходится, и даже очень приходится.

Жалок отец, если любовь к нему детей лишь оттого, что они нуждаются в его помощи. Да и можно ли вообще назвать это любовью? Следует внушать уважение своими добродетелями и рассудительностью, а любовь — добротой и мягкостью.

Если мы хотим, чтобы наши дети любили нас, если мы хотим лишить их повода желать нашей смерти, то нам следует разумно сделать для них все, что в нашей власти.

Для состарившегося отца должно быть большой радостью самому ввести своих детей в управление своими делами… и давать им советы и наставления на основе своего опыта… Поэтому я не стал бы сторониться их общества, а наоборот хотел бы находиться около них и наслаждаться — в той мере, в какой мне это позволил бы мой возраст, — их радостями и увеселениями.

Я бы попытался в сердечных беседах внушить моим детям искреннюю дружбу и неподдельную любовь к себе, чего нетрудно добиться, когда имеешь дело с добрым существом.

Мы любим наших детей по той простой причине, что они рождены нами, и называем их нашим вторым «я», между тем… достоинства наших детей являются в большей степени их достоинствами, чем нашими.



Безрассудно и нелепо со стороны отцов не желать поддерживать со своими взрослыми детьми непринужденно-близкие отношения и принимать в общении с ними надутый и важный вид… На деле это бессмысленная комедия, делающая отцов в глазах детей скучными или… потешными: ведь их дети молоды, полны сил, и им… смешны надменные и властные гримасы бессильного и дряхлого старца, напоминающего пугало на огороде.

Я охотно возвращаюсь к мысли о пустоте нашего образования. Оно поставило себе целью сделать нас не то чтобы добропорядочными и мудрыми, а учеными, и оно добилось своего: оно так и не научило нас постигать добродетель и мудрость и следовать их предписаниям, на зато мы навсегда запомнили происхождение и этимологию этих слов; мы умеем склонять самое слово для обозначения добродетели, но любить ее мы не умеем.

Подлинно разумное обучение изменяет и наш ум, и наши нравы.

На мой взгляд, юноша должен быть невоздержанным: иначе для него окажется губительной любая буйная шалость и в веселой беседе он ока-

жется неудобным и неприятным обществу.

Деятельность и наблюдательность — вот качества, которые больше всего необходимо воспитывать в молодежи.

Нет, кажется, ничего, к чему природа толкала бы нас более, чем к дружескому общению.

Всякая дружба, которую порождают или питают наслаждение или выгода, нужды частные и общественные, тем менее прекрасна и благородна и тем менее является искренней дружбой, чем больше посторонних самой дружбе причин, соображений и целей примешиваются к ней.

Равным образом не совпадают с дружбой и те четыре вида привязанности, которые были установлены древними: родственная, общественная, налагаемая гостеприимством и любовная, — ни каждая в отдельности, ни все вместе взятые.

Ничто не является в такой мере выражением нашей свободной воли, как привязанность и дружба.

Никак нельзя сравнивать с дружбой или уподоблять ней любовь к женщине, хотя такая любовь и возникает из нашего свободного вы-

бора.

В дружбе — теплота общая и всепроникающая, умеренная, сверх того, ровная, теплота постоянная и устойчивая, сама приятность и ласка, в которой нет ничего резкого и ранящего.

Дружба есть согласие желаний.

Дружба, напротив, становится тем желаннее, чем полнее мы наслаждаемся ею; она растет, питается и усиливается лишь благодаря тому наслаждению, которое неизменно доставляет нам, и так как наслаждение это — духовное, то душа, предаваясь ему, возвышается.

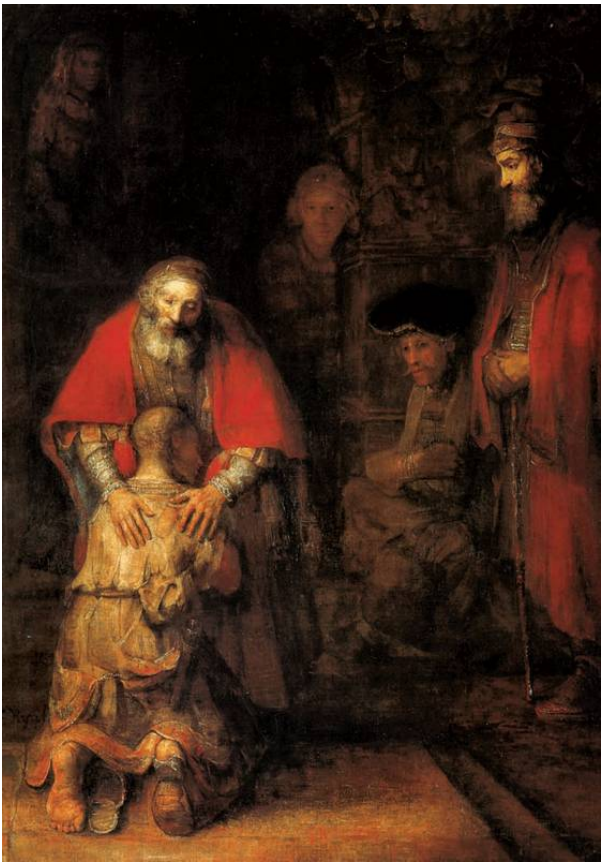
В той дружбе, какую я имею в виду, затронуты самые сокровенные глубины нашей души; в дружбе, поглощающей нас без остатка, нужно, конечно, чтобы все душевные побуждения человека были чистыми и безупречными.

Я нуждаюсь в таком общении с собеседником, которое бы поддерживало и вдохновляло меня.

Когда умирают наши друзья, то нет для нас лучшего утешения, чем сознание, что мы ничего не забыли им сказать и находились с ними в полнейшей и совершенной близости.

Я люблю общество людей, у которых близкие отношения основаны на чувствах сильных и мужественных, я ценю дружбу, не боящуюся резких и решительных слов.

Бескорыстная дружба, возникающая по нашему побуждению, обычно на голову выше дружеских отношений, которыми нас связывают соседство или общность крови.



В истинной дружбе я отдаю моему другу больше, чем беру у него.

Жажда непосредственной близости говорит о недостатке способности к духовному общению.

До чего же справедливо древнее изречение, гласящее, что дружба еще насущнее и еще сладостнее, чем вода и огонь!

Мы имеем право опираться иногда на другого, но вовсе не наваливаться на него всей своей тяжестью и поддерживать себя ценой его гибели.

Редкая удача, но и необыкновенное облегчение — иметь возле себя порядочного во всех отношениях человека, с ясным умом и нравами, сходными с вашими.

Но лучше быть одному, чем среди докучных и глупых людей.

Часто случается, что жизненные обстоятельства своих друзей я вижу и понимаю лучше, чем они сами.

Надо иметь очень чуткие уши, чтобы выслушивать откровенные суждения о себе… Те, кто решаются высказывать нам, что они думают о нас, проявляют тем самым необыкновенные

дружеские чувства. Ибо ранить и колоть для того, чтобы принести пользу, — это и есть настоящая любовь.

Настоящий друг — это тот, кому я поверил бы во всем, касающемся меня, больше, чем самому себе.

Что может быть труднее, чем уберечься от врага, надевшего на себя личину нашего самого преданного друга, или проникнуть в сокровенные мысли и побуждения тех, кто находится постоянно около нас?

В дружбе нет никаких иных расчетов и соображений, кроме нее самой.

Истинные друзья те, у кого «одна душа в двух телах».

Самая глубокая дружба порождает самую ожесточенную вражду.

Именно принявший у друга благодеяние, обязал бы его этим; ведь оба они не желают ничего лучшего, как сделать один другому благо, и именно тот, кто предоставляет своему другу возможность и повод к этому, проявляет щедрость… Когда философ Диоген нуждался в деньгах, он не

говорил, что одолжит их у друзей; он говорил, что попросит друзей возвратить ему долг.

Кому не ясно, какое важнейшее значение имеет для государства воспитание детей? И тем не менее, без долгих размышлений, детей оставляют на произвол родителей, какими бы взбалмошными и дурными людьми они ни были.

Пусть ученика заставят понять, что признаться в ошибке, допущенной им в своих рассуждениях, даже если она никем, кроме него, не замечена, есть свидетельство ума и чистосердечия… что упорствовать в своих заблуждениях и отстаивать их — свойства весьма обыденные, присущие чаще всего наиболее низменным душам, и что умение одуматься и поправить себя, сознаться в своей ошибке в пылу спора — качества редкие и ценные.

В дружбе … наши души смешиваются и сливаются в нечто до такой степени единое, что скрепляющие их когда-то швы стираются начисто и они сами не в состоянии более отыскать их следы. Если бы у меня настойчиво требовали ответа, почему я любил моего друга, я чувствую, что не мог бы выразить это иначе, чем сказав: «Потому, что это был он, и потому, что это был я».

Та совершенная дружба, о которой я говорю, неделима: каждый с такой полнотой отдает себя другу, что ему больше нечего уделить кому-нибудь еще… В обычных дружеских связях можно делить свое чувство: можно в одном любить его красоту, в другом — простоту нравов, в третьем — щедрость… и так далее. Но что касается дружбы, которая подчиняет душу всецело и неограниченно властвует над нею, тут никакое раздвоение невозможно.

Никакие доводы в мире не могут поколебать моей уверенности в том, что я знаю волю и мысли моего друга.



Добродетели и чувства



Когда творишь добро, сам испытываешь некое радостное удовлетворение и законную гордость, сопутствующую чистой совести.

Понятие добродетели предполагает трудность и борьбу, добродетель не может существовать без противодействия.

Истинное достоинство подобно реке: чем она глубже, тем меньше издает шума.

Благоразумию также свойственны крайности, и оно не меньше нуждается в мере, чем легкомыслие.

Подобно тому как огонь, войдя в соприкосновение с холодом, становится ярче, так и наша воля, сталкиваясь с препятствиями, закаляется и оттачивается.

Самый краткий путь к завоеванию славы — это делать по побуждению совести то, что мы делаем ради славы.

Доблесть, которою так жаждут прославиться, может проявиться при случае столь же блистательно, независимо от того, надето ли на нас домашнее платье или боевые доспехи, находитесь ли вы у себя дома или в военном лагере,

опущена ли ваша рука или занесена для удара.

Страх ощущается нами с большею остротою, нежели остальные напасти.

Сстолько имен, столько побед и завоеваний, погребенных в пыли забвения, делают смешною нашу надежду увековечить в истории свое имя захватом какого-нибудь курятника, ставшего сколько-нибудь известным только после своего падения.

Крайняя степень страха выражается в том, что, поддаваясь ему, мы даже проникаемся той самой храбростью, которой он нас лишил в минуту, когда требовалось исполнить свой долг и защитить свою честь.

Многих из тех, кого помяли в какой-нибудь схватке, израненных и еще окровавленных, назавтра можно снова повести в бой, но тех, кто познал, что представляет собой страх перед врагом, тех вы не сможете заставить хотя бы взглянуть на него.

Смелый поступок не должен непременно предполагать доблесть у совершившего его человека, ибо тот, кто по-настоящему доблестен, будет таковым всегда и при всех обстоятельствах.

Страх то придает ногам крылья, то приковывает их к земле.

Ценность и достоинство человека заключены в его сердце и в его воле; именно здесь — основа его подлинной чести.

Кто заражен страхом болезни, тот уже заражен болезнью страха.

Что касается трусости, то, как известно, наиболее распространенный способ ее наказания — это всеобщее презрение и поношение. Есть основание опасаться, что позор не только повергает в отчаяние тех, кто наказан подобным образом, и не только доводит их до полнейшего равнодушия, но и превращает порой во врагов.

Совсем не трудно изображать храбреца, пока не приступишь к выполнению замысла.

Распространять молву о наших деяниях и выставлять их напоказ — это дело голой удачи: судьба дарует нам славу по своему произволу.

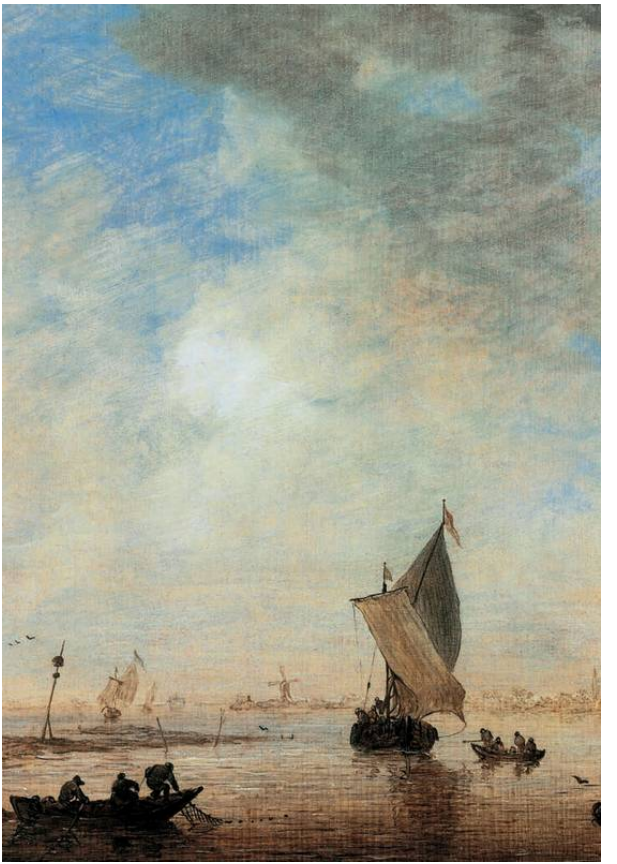
Страх — это страсть воистину поразительная, и врачи говорят, что нет другой, которая выбивала бы наш рассудок из положенной ему колеи в большей мере, чем эта.

Молчаливость и скромность — качества, в обществе весьма ценные.

Привычка терпеливо трудиться — это то же, что привычка терпеливо переносить боль.

Вежливость ничего не стоит, но приносит много.

Честный человек предпочтет скорее расстаться со своей честью, чем с чистой совестью.



Пытливости нашей нет конца: конец на том свете.

Существуют вещи, которые только затем и прячут, чтобы их показать.

Чрезмерно сильное горе подавляет полностью нашу душу, стесняя свободу ее проявлений.

Обвинениям в адрес самого себя всегда верят, самовосхвалению — никогда.

У животных есть та благородная особенность, что лев никогда не становится из малодушия рабом другого льва, а конь — рабом другого коня.

Величие победы измеряется степенью ее трудности.

Полное согласие — свойство для беседы весьма скучное.

…**Н**е достигнув желаемого, они сделали вид, будто желали достигнутого.

Взять город приступом, выслать посольство, царствовать над народом — все это блестящие деяния. Смеяться, любить и кротко обращаться со своей семьей, не противоречить самому себе — это нечто более редкое, более сложное и менее

заметное для окружающих.

Не все, что колеблется, падает.

Все средства — при условии, что они не бесчестны, — способные оградить нас от бедствий и неприятностей, не только дозволены, но и заслуживают всяческой похвалы.

Сильное воображение порождает событие.

Открывать свое сердце состраданию свойственно людям снисходительным, благодушным и мягким.

Оставаться равнодушным к слезам и мольбам и уступать единственно из благоговения перед святынею доблести есть проявление души сильной и непреклонной.

Скорбь — чувство, всегда приносящее вред, всегда безрассудное, а также всегда малодушное и низменное.

Душа мудреца не способна устоять перед обрушившимися на нее впечатлениями и образами, и этот мудрец отдает законную дань природе, когда бледнеет и съеживается, заслышав, к примеру, раскаты грома или грохот обвала. То же самое происходит, когда его охватывают страсти… Муд-

рец не свободен от душевных потрясений, но он умеряет их.

Наши намерения являются судьями наших поступков.

Раскаяние требует жертв.

Мы не можем отвечать за то, что сверх наших сил и возможностей.

Превосходная память весьма часто уживается с сомнительными умственными способностями.

Я посоветовал бы человеку, говорящему медлительно, стать проповедником, а человеку, говорящему живо, — адвокатом.

Нашему остроумию, как мне кажется, более свойственны быстрота и внезапность, тогда как уму — основательность и медлительность.

Умение держать себя с людьми — вещь очень полезная. Подобно любезности и красоте, оно облегчает нам доступ в общество и способствует установлению дружеских связей.

Людей… мучают не самые вещи, а представления, которые они себе создали о них.

Всякое убеждение может быть достаточно

сильным, чтобы заставить людей отстаивать его ценою жизни.

В чем бы они (добродетели) проявляли себя, если б не существовало страдания, с которым они вступают в борьбу?

Страдание захватывает нас настолько, насколько мы поддаемся ему.



Наше представление о вещах — дерзновенная и безмерная сила.

Как учение — мука для лентяя, а воздержание от вина — пытка для пьяницы, так умеренность является наказанием для привыкшего к роскоши, а телесные упражнения — тяготою для человека изнеженного и праздного и тому подобное.

Храбрости, как и другим добродетелям, положен известный предел, преступив который, начинаешь склоняться к пороку.

Что бы ни говорили, но даже в самой добродетели конечная цель — наслаждение.

Поистине недостоин общения с добродетелью тот, кто кладет на чаши весов жертвы, которые она от нас требует, и приносимые ею плоды, сравнивая их вес; такой человек не представляет себе ни благодеяний добродетели, ни всей ее прелести.

Нравственные законы, о которых принято говорить, что они порождены самой природой, порождаются в действительности тем же обычаем; всякий, почитая в душе общераспространенные и всеми одобряемые воззрения и нравы, не может отказаться от них так, чтобы его

не корила совесть, или, следуя им, не воздавать себе похвалы.

Привычка притупляет остроту наших чувств.

Блаженство и счастье, которыми светится добродетель, заливают сиянием всё имеющее к ней отношение, начиная с преддверия и кончая последним ее пределом.

Вера в чудеса, видения, колдовство и иные необыкновенные вещи имеет своим источником главным образом воображение, воздействующее с особой силой на души людей простых и невежественных, поскольку они податливее других.

Нет наставницы более немилосердной и коварной, чем наша привычка. Мало-помалу, украдкой забирает она власть, но, начиная скромно и добродушно, она с течением времени укрепляется и укореняется в нас, пока наконец не сбрасывает покрова со своего деспотического лица.

Я полагаю, что нет такой зародившейся в человеческом воображении выдумки, сколь бы сумасбродною она ни была, которая не встретилась бы где-нибудь как общепринятый обычай и, следовательно, не получила бы одобрения и обоснования со стороны нашего разума.

В самом деле, поскольку мы впитываем предписания привычки с молоком матери и так как мир предстает перед нами с первого же нашего взгляда таким, каким он ими изображается, нам кажется, будто мы самим рождением предназначены идти тем же путем.

Все отклонения от обычая считаются отклонением от разума.

Целомудрие — прекрасная добродетель, и как велика его польза — известно всякому; однако прививать целомудрие и принуждать блюсти его, опираясь на природу, столь же трудно, сколь легко добиться его соблюдения, опираясь на обычаи, законы и предписания.

Кто пожелает отделаться от всесильных предрассудков обычая, тот обнаружит немало вещей, которые как будто и не вызывают сомнений, но вместе с тем и не имеют иной опоры, как только морщины и седина давно укоренившихся представлений. Сорвав же с подобных вещей эту личину и сопоставив их с истиной и разумом, такой человек почувствует, что, хотя его прежние суждения полетели кувырком, все же почва у него под ногами стала тверже.

Всякое благородное дело сопряжено с риском.

Пребывая в неуверенности и тревоге, порождаемых в нас нашею неспособностью видеть и избирать наиболее правильное решение, поскольку всякое дело сопряжено с трудностями из-за всевозможных случайностей и обстоятельств, на мой взгляд, самое надежное — поступать возможно более честно и справедливо; и когда нас одолевают сомнения, какой путь самый короткий, — предпочитать всегда самый прямой.



Мелочное и настороженное благоразумие — смертельный враг великих деяний.

Человек, жизнь которого исполнена честолюбивых стремлений и славных деяний, должен держать подозрительность в крепкой узде и ни в чем не давать ей поблажки: боязливость и недоверие вызывают и навлекают опасность.

Поскольку меры предосторожности, о которых надо постоянно заботиться, требуют бесконечных усилий и не могут считаться надежными, лучше вооружиться благородной твердостью и приготовить себя ко всему, что может случиться, находя утешение в том, что оно, быть может, все-таки не случится.

Ценность и возвышенность истинной добродетели определяются легкостью, пользой и удовольствием ее соблюдения; бремя ее настолько ничтожно, что его могут нести как взрослые, так и дети.

Нужно устремлять наши желания на вещи легко доступные и находящиеся у нас под рукой и нужно уметь останавливаться на этом.

Мир не настолько еще испорчен, чтобы не нашлось человека, который не пожелал бы от

всего сердца расходовать унаследованные им от родителей средства… на избавление от нищеты людей редкостных и выдающихся… ибо судьба нередко преследует их, доводя до крайности.

Добродетель — мать-кормилица человеческих наслаждений. Вводя их в законные рамки, она придает им чистоту и устойчивость; умеряя их, она сохраняет их свежесть и привлекательность. Отметая те, которые она считает недостойными, она обостряет в нас влечение к дозволенным ею; таких — великое множество, ибо она доставляет нам с материнскою щедростью все то, что согласно с требованиями природы.

Те, кто утверждает, будто в добродетели не бывает чрезмерного по той причине, что все чрезмерное не есть добродетель, просто играют словами.

Доблесть есть сила не наших рук или ног, но мужества и души; она зависит не от качеств нашего коня или оружия, но только от наших собственных. Тот, кто пал, не изменив своему мужеству, кто пред лицом грозящей ему смерти не утрачивает способности владеть собой, тот, кто испуская последнее дыхание, смотрит на своего врага твердым и презрительным взглядом, — тот

сражен, но не побежден.

Самые доблестные бывают порой и самыми несчастливыми.

Добродетель признает своим только то, что творится посредством нее одной и лишь ради нее.

Добро и зло можно творить повсюду.

Пресмыкаясь во прахе земном, я тем не менее не утратил способность замечать где-то высоко в облаках несравненную возвышенность иных героических душ. Иметь хотя бы правильные суждения, раз мне не дано надлежащим образом действовать, и сохранять, по крайней мере неиспорченной, эту главнейшую часть моего существа — по мне, и то уже много.

Обладать доброй волей … это тоже чего-нибудь стоит. Век, в который мы с вами живем… настолько свинцовый, что не только сама добродетель, но даже понятие о ней — вещь неведомая; похоже, что она стала лишь словечком из школьных упражнений в риторике.

Добродетель… довольствуется собой: она не нуждается ни в правилах, ни в воздействии со стороны.

Самая великая вещь на свете — это владеть собой.

Честолюбие несовместимо с уединением. Слава и покой не могут ужиться под одной крышей.

Хорошо иметь доброе имя, то есть пользоваться доверием и доброй славой.

Когда человек, падающий духом от оскорбления, в то же время стойко переносит бедность, или боящийся бритвы цирюльника обнаруживает твердость перед мечом врага, то достойно похвалы деяние, а не сам человек.



Смелый поступок не должен непременно предполагать доблести у совершившего его человека; ибо тот, кто по-настоящему доблестен будет таковым всегда и при всех обстоятельствах. Если бы это было проявлением врожденной добродетели, а не случайным порывом, то человек был бы одинаково решителен во всех случаях: как тогда, когда он один, так и тогда, когда он находится среди людей; как во время поединка, так и в сражении.

Наши поступки — не что иное, как разрозненные, не слаженные между собой действия, и мы хотим, пользуясь ложными названиями, заслужить почет. Добродетель требует, чтобы ее соблюдали ради нее самой; и если иной раз ею прикрываются для иных целей, она тотчас же срывает маску с вашего лица.

Поэты, которые творят со своими героями все, что им заблагорассудится, не решаются лишить их способности плакать.

Какие удивительные вещи способна проделывать с нами совесть! Она заставляет нас изменять себе, предавать себя и самому же себе вредить. Даже когда нет свидетеля, она выдает нас против нашей воли.

Совесть может преисполнять нас страхом так же, как может преисполнять уверенностью и душевным спокойствием.

Многие вещи наше воображение рисует нам более ужасными, чем они есть в действительности.

Говорить о себе уничижительно, хуже, чем ты есть на самом деле, — не скромность, а глупость… Никакая добродетель не улучшается от искажения, а истина никогда не покоится на лжи.

Говорить о себе, превознося себя лучше, чем ты есть на самом деле, не только всегда — тщеславие, но также нередко и глупость.

Если к награде, которая должна быть только почетной, примешиваются другие блага и богатства, то эти сочетания вместо того, чтобы усилить почет, снижают и уменьшают его.

Как бы велика ни была добродетель, но если она вошла в привычку, то не стоит награды. И я даже не уверен, назовем ли мы ее великой, если она стала обычной.

Кто делает добро, совершает прекрасный и благородный поступок, а тот, кто принимает

добро, делает только нечто полезное; полезное же гораздо менее достойно любви. Благородное… доставляет тому, кто его сделал, прочное чувство удовлетворения. Полезное… не оставляет по себе столь живого и отрадного воспоминания.

Мы больше ценим те вещи, которые достались нам дорогой ценой, а давать труднее, чем брать.

Добродетель есть нечто иное и более благородное, чем проявляющаяся в нас склонность к добру.

Люди по природе своей добропорядочные и с хорошими задатками… поступают так же, как люди добродетельные. Но добродетель есть нечто большее и более действенное, чем способность тихо и мирно, в силу счастливого нрава, подчиняться велениям разума.

Тот, кто по природной кротости и обходительности простил бы нанесенные ему обиды, поступил бы прекрасно и заслуживал похвалы; но тот, кто задетый за живое и разъяренный сумел бы вооружиться разумом и после долгой борьбы одолеть неистовую жажду мести и выйти победителем, совершил бы, несомненно, нечто большее. Первый поступил бы хорошо, второй же

— добродетельно… ибо мне кажется, что понятие добродетели предполагает трудность и борьбу и что добродетель не может существовать без противодействия.

Добродетель требует трудного и тернистого пути, она… должна преодолевать либо внешние трудности, которыми судьба старается отвлечь ее от нелегкого пути, либо трудности внутренние, вызванные нашими необузданными страстями и несовершенством.

Некоторые добродетели, например целомудрие, воздержанность и умеренность, могут быть обусловлены физическими недостатками.



Нет сомнений в том, что лучше по божьему соизволению свыше подавлять искушения в зародыше и так подготовить себя к добродетели, чтобы самые семена искушения были уже вырваны с корнем, чем, поддавшись первым проявлениям дурных страстей, лишь после этого мешать их росту и бороться… Но я не сомневаюсь, что идти по этому второму пути лучше, чем обладать просто цельным и благодушным характером и питать от природы отвращение к пороку и распущенности. Ибо люди, относящиеся к этой третьей разновидности, — люди невинные, но не добродетельные, они не делают зла, но их не хватает на то, чтобы делать добро.

Стойкость в перенесении опасностей, презрение к смерти и терпение в бедствиях часто встречаются у людей, не умеющих разбираться в злоключениях и потому не воспринимающих их как таковые. Поэтому отсутствие достаточного понимания и глупость иногда можно принять за добродетели, и мне нередко приходилось видеть, как людей хвалили за то, за что их следовало бранить.

Существует долг гуманности и известное обязательство щадить не только животных, на-

деленных жизнью и способностью чувствовать, но даже деревья и растения. Мы обязаны быть справедливыми по отношению к другим людям и проявлять милосердие и доброжелательность ко всем другим созданиям, достойным этого.

Смирение и послушание отличают добродетельного человека.

Бич человека — это воображаемое знание. Вот почему христианская религия так настойчиво проповедует нам неведение, являющееся лучшей основой для веры и покорности.

Неотесанность, необразованность, невежество, простота нередко прикрывают невинность и чистоту, меж тем как любопытство, изощренность, знание порождают влечение ко злу. Смирение, боязнь, покорность, благочестие (являющиеся важнейшим залогом сохранения человеческого общества) требуют души ничем не отягченной, послушной и лишенной самомнения.

Следует помнить, что для всякого существа нет ничего прекраснее и лучше его самого и всякий сравнивает качества всех других существ со своими собственными. Эти качества мы можем усиливать или ослаблять, но мы не можем

сделать ничего большего, ибо дальше этого сопоставления и этого принципа наше воображение не способно пойти; оно не в состоянии вообразить ничего иного, оно не может выйти за эти пределы и переступить их.

Тот, кто смог бы заставить меня пойти наперекор чувствам, взял бы меня за горло, и я не смог бы сделать больше ни шагу.

Следует, по крайней мере, учиться на своих ошибках. Если я неоднократно обманывался в этом отношении, если показания моего пробного камня оказывались неверными, а весы неточными и неправильными, то как могу я в данном случае быть более уверен, чем в предыдущих?

Всякое познание пролагает себе путь в нас через чувства — они наши господа. Знание начинается с них и ими же завершается. В конце концов, мы знали бы не больше, чем какой-нибудь камень, если бы не знали, что существует звук, запах, свет, вкус, мера, вес, мягкость, твердость, шероховатость, цвет, гладкость, ширина и глубина.

Чувства являются началом и венцом человеческого познания… Все наше обучение происходит через них и при помощи их.

Чувства обладают тем преимуществом, что являются крайней границей нашего знания, и за их пределами нет ничего, что бы помогло нам открыть их.

На каждом шагу мы можем видеть, что чувства нередко господствуют над рассудком и заставляют его воспринимать такие впечатления, которые он считает ложными и знает, что они таковы.

Чувства обманывают наш разум, но и он в свою очередь обманывает их.



Чтобы судить о роли чувств, надо было бы прежде всего добиться согласия между показаниями наших чувств и чувств животных, а затем также единогласия в показаниях чувств различных людей.

Мы по-разному воспринимаем вещи в зависимости от того, каковы мы сами.

Так как мы приноравливаем вещи к себе и видоизменяем их, сообразуясь с собой, то мы в конце концов не знаем, каковы вещи в действительности, ибо до нас все доходит в измененном и искаженном нашими чувствами виде.

Философы говорили, что слава целого мира не заслуживает того, чтобы мыслящий человек протянул к ней хотя бы один палец.

Если мы не вменим себе в закон поступать праведно, если мы приравняем безнаказанность к справедливости, то каких только злых дел не станем мы каждодневно творить!

Добродетель была бы вещью слишком суетной и легковесной, если бы ценность ее основывалась только на славе.

Распространять молву о наших деяниях и вы-

ставлять их напоказ — это дело голой удачи: судьба дарует нам славу по своему произволу.

Вся слава, на которую я притязаю, это слава о том, что я прожил свою жизнь спокойно и… по своему разумению.

Кто порядочен только ради того, чтобы об этом узнали другие и, узнав, стали бы питать к нему большее уважение, кто творит добрые дела лишь при условии, чтобы его добродетели стали известны, — от того нельзя слишком много ожидать.

Нужно быть доблестным ради себя самого и ради того преимущества, которое состоит в душевной твердости, уверенно противостоящей всяким ударам судьбы.

Я не столько забочусь о том, каков я в глазах другого, сколько о том, каков я сам по себе. Я хочу быть богат собственным, а не заемным богатством.

Для живописца или другого художника, или также ритора, или грамматика извинительно стремиться к тому, чтобы завоевать известность своими творениями; но деяния и добродетели слишком благородны по своей сущности, чтобы домогаться другой награды, кроме заключенной

в них самих ценности, и в особенности — чтобы домогаться этой награды в тщете людских приговоров.

Подобает, чтобы каждый находил в себе только то, что соответствует истине.

Я завидую счастью тех, кто умеет радоваться делам рук и испытывать от этого приятное удовлетворение. Ведь это весьма легкий способ доставлять себе удовольствие, ибо его извлекаешь из самого себя.

Неплохо родиться в испорченный век, ибо по сравнению с другими вы без больших затрат сможете сойти за воплощение добродетели. Кто не прикончил отца и не грабил церквей, тот уже человек порядочный и отменной честности.

Благородное сердце не должно таить свои побуждения. Оно хочет, чтобы его видели до самых глубин; в нем все хорошо или, по крайней мере, все человечно.

Аристотель считает, что душевное величие заключается в том, чтобы одинаково открыто выказывать и ненависть, и любовь, чтобы судить и говорить о чем бы то ни было с полнейшей искренностью и, ценя истину превыше всего, не

обращать внимания на одобрение и порицание, исходящие от других.

Первое и основное правило добродетели: ее нужно любить ради нее самой. Тот, кто говорит правду потому, что в силу каких-то посторонних причин вынужден к этому, или потому, что так для него полезнее, и кто не боится лгать, когда это вполне безопасно, того нельзя назвать человеком правдивым.

Поразительные и бесценные услуги оказывает нам память и без нее наш ум почти бессилен.



Вовсе не требуется всегда говорить полностью то, что ты думаешь, — это было бы глупостью, но все что бы ты ни сказал, должно отвечать твоим мыслям; в противном случае это — злостный обман.

Я считаю свои взгляды правильными и здравыми, но кто же не считает такими и свои собственные?

Люди обычно разглядывают друг друга, я же устремляю мой взгляд внутрь себя.

Если я вижу в других нечто хорошее, я глубоко уважаю это хорошее и очень охотно хвалю его.

Мои чувства могут меняться, но мои суждения — никогда… Я ревниво оберегаю свободу своего ума, и мне не так-то просто пожертвовать ею ради страсти, сколь бы неудержимой она ни была.

Добрые намерения, если их приводят в исполнение не в меру усердно, толкают людей на весьма дурные дела.

Глубокая радость заключает в себе больше суровости, чем веселья, крайнее и полное удовлетворение — больше успокоения, чем удовольствия. Блаженство истощает человека.

Тяготы и удовольствия — вещи крайне различные по природе — каким-то образом соединяются природными узами.

Я с легкостью представляю себе, что можно намеренно, добровольно и с охотой лелеять свою грусть, и настаиваю на том, что кроме честолюбия — а оно также может сюда примешиваться — во всем этом сквозит еще нечто приятное и заманчивое, что тешит нас и льстит нашему самолюбию посреди самой безысходной и тягостной грусти. Разве не существует душ, которые, можно сказать, питаются ею?

Живописцы показывают, что одни и те же движения и морщинки наблюдаются на лице человека и когда он плачет, и когда он смеется.

Всякий отлично знает, что больше храбрости и гордости в том, чтобы разбить своего врага и не прикончить его, чтобы разъярить его, а не умертвить; тем более что жажда мести таким образом утоляется, ибо с нее достаточно — дать себя почувствовать врагу.

Мститель хочет порадоваться, увидев себя отмщенным, необходимо, чтобы налицо был и обидчик, который ощутил бы при этом унижение

и раскаяние.

Я знаю по опыту, что следует отличать душевный порыв человека от твердой и постоянной привычки. Знаю я также прекрасно, что для человека нет ничего невозможного вплоть до того, что мы способны иногда превзойти даже божество, — и это потому, что гораздо больше заслуги в том, чтобы, преодолев себя, приобрести свободу от страстей, нежели в том, чтоб быть безмятежным от природы.

Убийство годится тогда, когда ты хочешь избежать предстоящей обиды, но не тогда, когда хочешь отмстить за совершенный уже проступок; это скорее действие, продиктованное страхом, чем храбростью, предосторожностью, а не мужеством, обороной, а не нападением.

Наши предки довольствовались тем, что отвечали на оскорбительные слова обвинением во лжи, на обвинение во лжи — ударом. И так далее, все усиливая оскорбления. Они были достаточно храбры и не боялись встретиться лицом к лицу с оскорбленным ими врагом. Мы же трепещем от страха, пока видим, что враг жив и здоров.

Гнусно для защиты своей чести привлекать

кого бы то ни было, кроме самого себя; а кроме того, я еще считаю, что для порядочного человека, целиком полагающегося на себя, недопустимо заставлять другого разделять его судьбу.

Доблесть в сражении состоит в соревновании храбрости, а эта последняя не приобретается путем обучения.

Благородные поступки всегда хороши, где бы они ни совершались.

В стремлении к славе, как и во многом другом, должна соблюдаться какая-то мера, равно как и в утолении жажды.



Я считаю, что даже весьма несовершенный и посредственный человек способен на любой возвышенный поступок; но ему всегда будет недоставать выдержки, умеренности и постоянства. Вот почему мудрецы утверждают, что судить о человеке надо, основываясь главным образом на его обыденных поступках, наблюдая его повседневное существование.

Слово и дело — разные вещи, и надо уметь отличать проповедника от его проповеди.

У добропорядочного человека могут быть ложные убеждения, а заведомо дурной человек может проповедовать истину, сам в нее не веря… Я всегда стараюсь узнать, что за человек был автор, в особенности когда дело касается пишущих о доблести и об обязанностях.

Упорство — родная сестра выдержки, по крайней мере в отношении твердости и настойчивости.

Не следует судить о том, что возможно и что невозможно, на основании того, что представляется вероятным и невероятным нашим чувствам, и грубая ошибка, в которую впадает большинство людей, состоит в том, что они не хотят верить

тому, чего не смогли бы сделать сами или не захотели бы сделать.

Мало того, что мне противно обманывать, — мне противно и тогда, когда обманываются во мне, я не хочу подавать к этому ни оснований, ни повода.

Я прекрасно вижу, какой дорогой ценой великие мужи древности платили за свое возвышение, и восхищаюсь их величием; я перенимаю те стремления, которые, на мой взгляд, прекрасны, и если у меня не хватает сил следовать им, то, во всяком случае, мое внимание пристально обращено к ним.

Мне всегда казалось… что в беде нет ничего более высокого, чем стойко держаться среди разбушевавшихся волн, честно выполняя все то, что требует от нас долг.

В бедности можно жить более беззаботно, чем при хорошо распределяемом достатке. Ведь разумное пользование доставляет больше хлопот, чем воздержание.

Я всегда совестился отрекаться от своего слова даже тогда, когда оно неосторожно слетало у меня с уст, опередив мысль, иначе мало-помалу

мы сведем на нет права тех, кому мы даем клятвы и обещания.

Чувство диктует нам более повелительно, чем разум.

Непосредственность и правдивость своевременны и уместны в любой век, каким бы он ни был.

Долг справедливости отнюдь не требует от нас гнева и ненависти; это страсти, пригодные для тех, кто не способен придерживаться своего долга, следуя велениям разума.

Нет такой выгоды, ради которой я позволил бы себе обманывать.

Когда творишь добро, сам испытываешь некое радостное удовлетворение и законную гордость, сопутствующие чистой совести.

Умеренность — добродетель более требовательная, чем нужда.

Свидетельства чистой совести чрезвычайно приятны, и эта радость, эта единственная награда, которая никогда не минует нас, — великое благодеяние для души.

Искать опоры в одобрении окружающих, видя в нем воздаяние за добродетельные поступки, — значит опираться на то, что крайне шатко и непрочно.

В наше развращенное, погрязшее в невежестве время добрая слава в народе, можно сказать, даже оскорбительна: ведь кому можно доверить оценку того, что именно заслуживает похвалы?

Всякий может фиглярствовать и изображать на подмостках честного человека, но быть порядочным в глубине души, где все дозволено, куда никому нет доступа, — вот поистине вершина возможного.

Сдержанность — мрачная и угрюмая добродетель.



Бывали люди, казавшиеся миру редкостным чудом, а между тем ни жены их, ни слуги не видели в них ничего замечательного. Лишь немногие вызывали восхищение своих близких.

Я люблю мудрость веселую и любезную и бегу от грубости и суровости нравов; всякая отталкивающая черта в лице вызывает во мне подозрение.

Добродетель — вещь приятная и веселая.

Я ненавижу умы, всегда и всем недовольные и угрюмые, — они проходят мимо радостей жизни и цепляются лишь за несчастья, питаясь ими одними.

Если знатность и впрямь добродетель, то это — добродетель искусственная и чисто внешняя, зависящая от века и удачи.

Образованность, телесная сила, доброта, красота, богатство, все прочие качества общаются между собой и вступают друг с другом в сношения; что же касается знатности, то она печется лишь о себе, не оказывая ни малейших услуг чему-либо другому.

Всякое естественное состояние есть тем самым

и справедливое, и наиболее удобное.

Узы, налагаемые на меня честностью, кажутся мне намного стеснительнее и тяжелее, чем судебное принуждение.

Не видя кругом хороших примеров, я пользуюсь дурными, ибо их вокруг сколько угодно. Наблюдая людей докучных, я старался быть тем приятнее; наблюдая слабых, воспитывал в себе большую твердость и у резких учился быть как можно снисходительнее.

Люди обычно обретают честность в несчастье, словно счастье несовместимо с чистой совестью.

Приговор, выносимый мною самому себе, гораздо строже и жестче судебного приговора, ибо судья применят ко мне ту же мерку, что и ко всем, тогда как тиски моей совести крепче и беспощаднее.

Правильно говорят, что порядочный человек — человек разносторонний.

Для того чтобы измерять душевную стойкость, необходимо знать, каково истинное страдание.

Кто творит добро главным образом с тем, чтобы доставить себе удовлетворение, тот не изменит

своего образа действий, видя, что люди не ценят его поступков.

Я всегда стараюсь хранить спокойствие и в душе, и в мыслях.

Мы держимся за благо с тем большей цепкостью и ценим его тем выше, чем мы неувереннее в нем и чем сильнее страшимся лишиться его.

Во всем и везде мне достаточно своих собственных глаз, дабы исполнить как подобает мой долг, и нет на свете другой пары глаз, которая следила бы за мной так же пристально и к которой я питал бы большее уважение.

Я вижу, что большинство умов моего времени изощряется в том, чтобы умалить славу прекрасных и благородных деяний древности, давая им какое-нибудь низменное истолкование и подыскивая для их объяснения суетные поводы и причины… Но любители заниматься подобным злословием поражают при этом не столько даже своим ехидством, сколько грубостью и тупоумием.

Одновременно с наслаждением, получаемым от порока, совесть начинает испытывать противоположное чувство, которое и наяву, и во сне

терзает нас мучительными видениями.

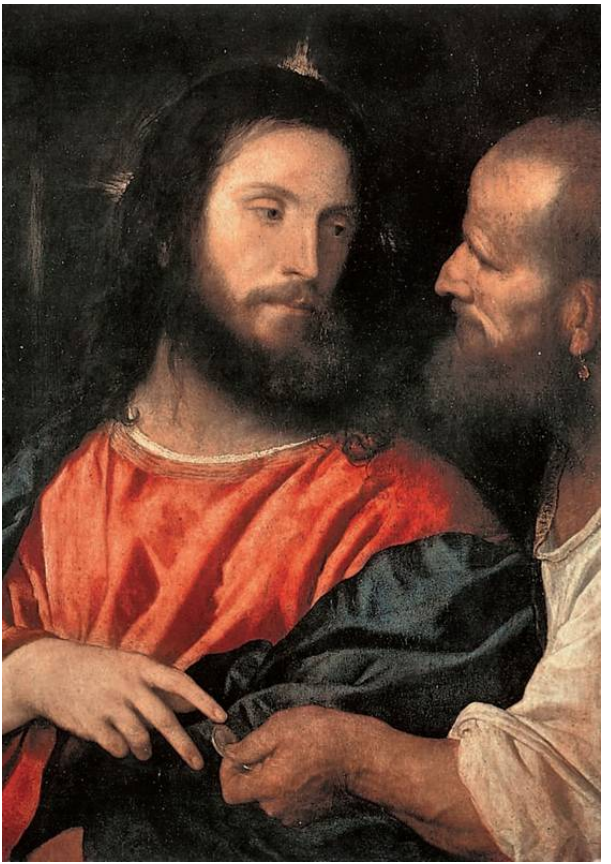
К чему бежать от придворного рабства, если заводишь его в собственной берлоге?

Наши превосходные философские рассуждения сплошь и рядом не более как заученный урок, и всякие житейские неприятности очень часто, не задевая нас за живое, оставляют нам возможность сохранять на лице полнейшее спокойствие.

Из повиновения и смирения рождаются все другие добродетели, из умствования же — все греховные замыслы.



Пороки, страсти, желания



Раз мы ненавидим что-либо, значит, принимаем это близко к сердцу.

Желание того, чего у нас нет, разрушает пользование тем, что у нас есть. С чем бы мы ни знакомились, чем бы ни наслаждались, мы все время чувствуем, что это нас не удовлетворяет, и жадно стремимся к будущему, к неизведанному, так как настоящее не может нас насытить, не потому, что в нем нет ничего, могущего насытить нас, а потому, что сами способы насыщения у нас нездоровые и беспорядочные.

Мы не столько освобождаемся от наших пороков, сколько меняем их на другие.

От недостатка уважения к себе происходит столько же пороков, сколько и от излишнего к себе уважения.

Нередко сам порок толкает нас на добрые дела.

Ни одна страсть не помрачает в такой мере ясность суждения, как гнев.

Гнев — это страсть, которая любуется и упивается собой. Нередко, будучи выведенными из себя по какому-нибудь ложному поводу, мы, несмотря на предоставленные нам убедительные оправ-

дания и разъяснения, продолжаем упираться вопреки отсутствию вины.

Пытаясь скрыть гнев, его загоняют внутрь… я же рекомендую лучше даже некстати залепить оплеуху своему слуге, чем корчить из себя мудреца, поражающего своей выдержкой; я предпочитаю обнаруживать свои страсти, чем скрывать их в ущерб себе самому: проявившись, они рассеиваются и улетучиваются, и лучше, чтобы их жало вышло наружу, чем отравляло нас изнутри.

Я предупреждаю моих домашних… чтобы они сдерживали свой гнев и не впадали в него по всякому поводу, ибо он не производит впечатления и не оказывает никакого действия, если проявляется слишком часто. К бессмысленному и постоянному крику привыкают и начинают презирать его.

Я предупреждаю моих домашних… чтобы они не гневались на ветер, то есть чтобы их попреки доходили до того, кому они предназначены, ибо обычно они начинают браниться еще до появления виновника и продолжают кричать часами, когда его уже и след простыл.

Аристотель утверждает, что иногда гнев служит оружием для добродетели и доблести. Это правдоподобно, но все же те, кто с этим не согласны, остроумно указывают, что это — необычное оружие: ведь обычно оружием владеем мы, а этот род оружия сам владеет нами; не наша рука направляет его, а оно направляет нашу руку.

Если я поддамся приступам гнева, они могут увлечь меня слишком далеко.

Мало того, что гнев вносит в душу смятение; он, сверх того, сковывает руки карающего.

После тех лиц, которые занимают самые высокие посты, я не знаю более несчастных, чем те, что им завидуют.

Лживость — гнуснейший порок. Только слово делает нас людьми, только слово дает нам возможность общаться между собой. И если бы мы сознавали всю мерзость и тяжесть упомянутого порока, то карали бы его сожжением на костре с большим основанием, чем иное преступление.

Среди других прегрешений пьянство представляется мне пороком особенно грубым и низменным.

Что касается пьянства, то этот порок — насквозь телесный и материальный. Поэтому самый грубый из всех ныне существующих народов — тот, у которого особенно распространен этот порок. Другие пороки притупляют разум, пьянство же разрушает его и поражает тело.

Подобно тому, как при кипячении вся муть со дна поднимается на поверхность, точно так же те, кто хватил лишнего, под влиянием винных паров выбалтывают самые сокровенные тайны.



Пьянство — бессмысленный и низкий порок, однако менее злостный и вредный, чем другие, подтачивающие самые устои человеческого общества. И хотя нет, как полагают, такого удовольствия, которое мы могли бы доставить себе так, чтобы оно нам ничего не стоило, я все же нахожу, что этот порок менее отягчает нашу совесть, чем другие, не говоря уже о том… что его проще всего удовлетворить.

Наихудшее состояние человека — это когда он перестает сознавать себя и владеть собой.

Невозможно предаваться с одинаковой силой и распутству, и страсти к вину. Воздержание от вина, с одной стороны, ослабляет наш желудок, а с другой — делает нас дамскими угодниками, более падкими на любовные утехи.

Кто желает быть настоящим выпивохой, должен отказаться от тонкого вкуса.

На какие только глупости не толкает нас наше высокое мнение о себе!

Трусость — мать жестокости.

Мне приходилось наблюдать на опыте, что чудовищная, бесчеловечная жестокость неред-

ко сочетается с женской чувствительностью. Я встречал необычайно жестоких людей, у которых легко было вызвать слезы и которые плакали по пустякам.

Побоища, следующие за победами, обычно совершаются солдатами и командирами обоза; неслыханные жестокости, чинимые во время народных войн, творятся этой кучкой черни, которая, не ведая никакой другой доблести, жаждет по локоть обагрить свои руки в крови.

Самые выдающиеся дарования губятся праздностью.

Разве мошенничество становится менее гадким оттого, что речь идет о нескольких су, а не о нескольких экю? Оно гадко само по себе.

Те, у кого одинаково злая воля, каково бы ни было различие в их положении, таят в себе одинаковую жестокость, бесчестность, грабительские наклонности, и все это в каждом из них тем отвратительнее, чем он трусливее, чем увереннее в себе и чем ловчее умеет прикрываться законами.

Назовите мне какое-нибудь самое чистое и выдающееся деяние, и я берусь обнаружить в нем,

с полным правдоподобием, полсотни порочных намерений.

Высокомерие складывается из чересчур высокого мнения о себе и чересчур низкого о других.

Наши желания презирают и отвергают всё находящееся в нашем распоряжении; они гонятся лишь за тем, чего нет.

Самые грубые и вздорные выдумки возникают большей частью у тех, кто занимается самыми возвышенными и трудными вопросами; любознательность и высокомерие заставляют их погружаться в глубокие бездны.

Душевные страсти, вроде честолюбия, скупости и тому подобных, больше зависят от нашего разума, ибо только он способен справиться с ними; эти желания к тому же неукротимы, ибо, утоляя, только усиливаешь и обостряешь их.

По мере того, как мы лишаемся естественных удовольствий, мы возмещаем их удовольствиями искусственными.

Всякая страсть, которая оставляет место для смакования и размышления, не есть сильная страсть.

Душа, теснимая страстями, предпочитает обольщать себя вымыслом, создавая себе ложные и нелепые представления, в которые и сама порой не верит.

Праздность порождает в душе неуверенность.

Тому, кто не очень-то полагается на свою память, нелегко складно лгать.

Всякий охотнее рассуждает о чужом ремесле, чем о своем собственном, надеясь прослыть таким образом, знатоком еще в какой-нибудь области.



Я опасаюсь, что наши глаза алчут большего, чем может вместить желудок, а также что любопытство в нас превосходит наши возможности. Мы захватываем решительно все, но наша добыча — ветер.

Честолюбие, жадность, нерешительность, страх и вожделение не покидают нас с переменой места.

Мудрецы затратили немало усилий, чтобы предостеречь нас от ловушек наших страстей и научить отличать истинные, полновесные удовольствия от таких, к которым примешиваются заботы… Ибо большинство удовольствий, по их словам, щекочет и увлекает нас лишь для того, чтобы задушить до смерти.

Долой красноречие, которое влечет нас само по себе, а не к стоящим за ним вещам!

Разум повелевает нам идти все время одним и тем же путем, но не всегда с одинаковой быстротой; и хотя мудрый человек не должен позволять страстям своим отклонять его от правого пути, он может, не поступаясь долгом, разрешить им то убыстрять, то умерять его шаг, и ему не подобает стоять на месте, словно он колосс, неподвижный

и бесстрастный.

Почти всем людям свойствен порок — определять свои желания и взгляды по тем условиям жизни, в которые они поставлены от рождения.

Ничто не раздражает и не вызывает такого пресыщения, как изобилие.

Меня приводит в негодование то исключительное легкомыслие, с которым наши люди позволяют ослеплять и одурачивать себя вкусам нынешнего дня до такой степени, что они способны менять взгляды и мнения каждый месяц, если это требует мода.

Вкусы наши меняются так быстро и внезапно, что даже самые изобретательные портные не могут поспеть за ними и выдумать столько новинок.

На протяжении пятнадцати — двадцати лет один и тот же человек по одному и тому же поводу высказывает два и три не только различных, но и прямо противоположных мнения, с непостоянством и легкомыслием поразительными. И нет среди нас человека столь разумного, чтобы он не поддался чарам всех этих превращений, ослепляющих и внутреннее, и внешнее зрение.

Те, кто изменяет и подкрашивает лица женщин, причиняет меньше вреда, ибо не видеть их природного облика — потеря небольшая. Люди, пытающиеся обмануть не глаза наши, а разум, и извратить и исказить истинную сущность вещей, гораздо вреднее.

Если я лгу, я оскорбляю себя в большей мере, чем того, о ком солгал.

Кто бесчестен в отношении правды, тот таков же и в отношении лжи.

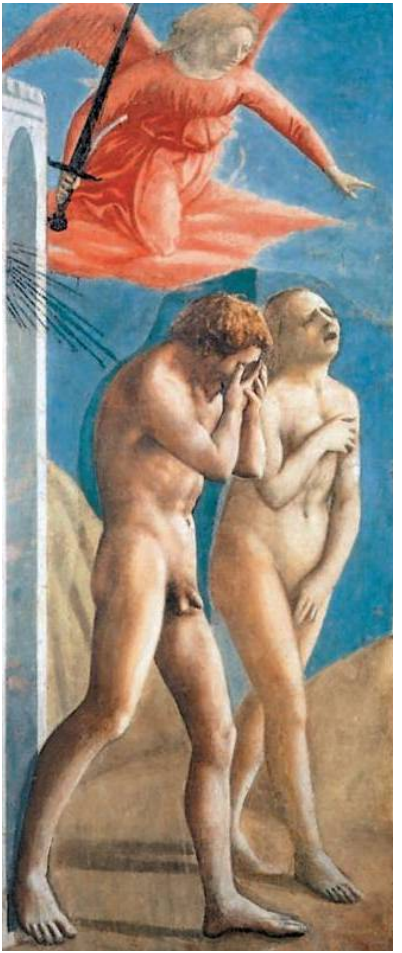
Часто люди пытаются добиться одобрения путем легкомысленных суетных ухищрений.

Поведение человека, который сочетает гнусную жизнь с благочестием, кажется мне гораздо более достойным осуждения, чем поведение человека, верного себе во всем и одинаково порочного.

Истинная молитва, истинное примирение с Богом не могут быть доступны душе нечистой, да еще в тот миг, когда она находится во власти сатаны. Тот, кто призывает помощь Божию в порочном деле, поступает так, как поступил бы вор, залезший в чужой кошелек и в то же время взывающий к правосудию.

Наши наслаждения под стать нашей судьбе; так давайте же не будем зариться на чужие, на те, что подобают величию.

Мы обычно следуем за нашими склонностями направо и налево, вверх и вниз, туда, куда влечет нас вихрь случайностей. Мы думаем о том, чего мы хотим, лишь в тот момент, когда мы этого хотим, и меняемся, как то животное, которое принимает окраску тех мест, где оно обитает. Мы не идем — нас несет подобно предметам, подхваченным течением реки, — то плавно, то стремительно, в зависимости от того, спокойна она или бурлива.



Каждый день нам на ум приходит нечто новое, и наши настроения меняются с течением времени.

Какое докучное и болезненное заблуждение — мнить себя столь мудрым, что даже не допускать мысли о возможности кому-либо другому думать совсем иначе!

Гордыня — вот источник гибели и развращения человека; она побуждает его уклоняться от проторенных путей, увлекаться новшествами; она порождает стремление возглавлять людей заблудших, ставших на стезю гибели; она заставляет человека предпочитать быть учителем лжи и обмана, чем учеником в школе истины, который дает вести себя за руку другому по проложенному и праведному пути.

Поистине чудовищной должна быть совесть, которая остается невозмутимой, давая приют под одной кровлей, в столь согласном и мирном сообществе, и преступнику, и судье!

Раз мы не можем отказаться от честолюбия по велению совести, давайте откажемся от него хотя бы из честолюбия. Давайте презрим эту жажду почета и славы, неизменно заставляющую нас

выпрашивать их у людей всякого сорта.

Очень опасно не различать характер и степень прегрешения. Это было бы весьма выгодно убийцам, предателям, тиранам.

Всякий склонен подчеркивать тяжесть прегрешений своего ближнего и преуменьшать свой собственный грех.

Все поступки, выходящие за обычные рамки, истолковываются в дурную сторону, ибо нам не по вкусу ни то, что выше нашего понимания, ни то, что ниже его.

Гордыня порождается мыслью, язык принимает в этом лишь незначительное участие.

Ошибки часто ускользают от взора, но если мы не в состоянии их заметить, когда другой человек нам на них указывает, то это свидетельствует о том, что мы не способны рассуждать здраво.

Аристотель считает, что человек благоразумный и справедливый может быть и невоздержанным, и распутным.

Мне приходится жить в такое время, когда вокруг нас хоть отбавляй примеров невероятной жестокости, вызванных разложением,

порожденным нашими гражданскими войнами; в старинных летописях мы не найдем рассказов о более страшных вещах, чем те, что творятся у нас сейчас каждодневно.

Я не в состоянии был поверить, пока не увидел сам, что существуют чудовища в образе людей, которые готовы убивать ради удовольствия, доставляемого им убийством.

Кровожадные наклонности по отношению к животным свидетельствуют о природной склонности к жестокости.

Нам должно быть стыдно, что среди последователей всех других религий никогда не было таких, которые не сообразовали бы, так или иначе, свое поведение и образ жизни со своими верованиями — как бы ни были эти верования нелепы и странны, — в то время как христиане, исповедующие столь божественное и небесное учение, являются таковыми только по названию.

Я вижу ясно, что мы охотно делаем для нашего благочестия лишь то, что удовлетворяет наши страсти.

Никакая вражда не может сравниться с христианской. Наше рвение творит чудеса, когда оно

согласуется с нашей наклонностью к ненависти, жестокости, тщеславию, жадности, злословию и восстанию. Напротив, на путь доброты и умеренности его не заманить ни так, ни эдак, если только его что-либо не толкнет туда чудом.

Наша религия создана для искоренения пороков.

Мы обычно охотно истолковываем высказывания других людей в пользу наших собственных, укоренившихся в нас предрассудков; для атеиста, например, все произведения ведут к атеизму: самую невинную вещь он заражает своим собственным ядом.



Самомнение — наша прирожденная и естественная болезнь.

Вожделения бывают либо естественные и необходимые, как, например, голод или жажда; либо естественные, но не необходимые, как, например, половое общение; либо и не естественные и не необходимые: таковы почти все человеческие вожделения, которые и искусственны, и излишни. В самом деле, поразительно, как немного человеку нужно для его подлинного удовлетворения и как мало природа оставила нам такого, чего еще можно пожелать.

Многие самые благородные душевные суждения обусловлены страстями и нуждаются в них. Человек никогда не нападает на злодеев или на врагов с большей силой, чем когда он в ярости; говорят, что даже адвокат должен разгорячить судей для того, чтобы они судили по справедливости.

Сострадание пробуждает в нас милосердие, а страх обостряет наше чувство самосохранения и самообладания. А сколько прекрасных поступков продиктовано честолюбием! Сколько — высокомерием! Всякая выдающаяся и смелая добродетель не обходится в конечном счете без

какого-нибудь отрицательного возбудителя.

Страсти являются как бы стрекалами для души, толкающими ее на добродетельные поступки.

Наше бодрствование более слепо, чем сон. Наша мудрость менее мудра, чем безумие. Наши фантазии стоят больше, чем наши рассуждения. Самое худшее место, в котором мы можем находиться, это мы сами.

Я с не меньшей силой бросаюсь вперед, чем подаюсь потом назад.

Страсти не только изменяют наши чувства, но часто приводят их в состояние полного отупения.

Из всех призрачных стремлений нашего мира самое распространенное — это забота о нашем добром имени и о славе.

Запретить нам что-либо — значит придать ему в наших глазах заманчивость, предоставить же его сразу — значит заронить в нас к нему презрение.

Нет ничего, что в такой мере отравляло бы государей, как лесть; ничего, что позволяло бы дурным людям с такой легкостью добиваться

доверия окружающих; никакое сводничество не способно так ловко и с таким неизменным успехом совращать целомудренных женщин, как расточаемые им и столь приятные для них похвалы.

Есть столько способов уклоняться от положений, связанных с личным риском, что мы тысячу раз успеем обмануть целый мир, прежде чем ввяжемся в какое-нибудь по-настоящему смелое дело.

Мы заботимся больше о том, чтобы о нас говорили, чем о том, что именно о нас говорят; с нас довольно того, что наше имя у всех на устах. А почему — это нас отнюдь не заботит.

Нам кажется, что если мы пользуемся известностью, то это значит, что наша жизнь и сроки ее находятся под охраной знающих нас.

Обладание чем бы то ни было само по себе вызывает в нас презрение ко всему, чем владеешь и что находится в твоей власти… Поместье, дом, лошадь моего соседа, стоящие столько же, сколько мои, стоят в моих глазах дороже именно потому, что они не мои.

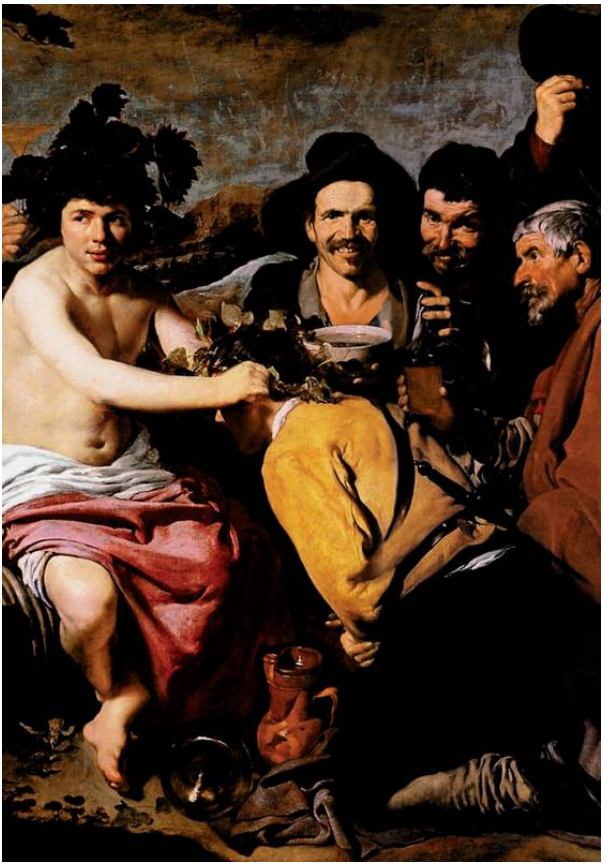
Мне кажется, что философия никогда в такой

мере не отвечает своему назначению, как тогда, когда она обличает в нас наше самомнение и тщеславие, когда она искренне признается в своей нерешительности, своем бессилии и своем невежестве.

Корень самых разительных заблуждений, как общественных, так и личных, — это чрезмерно высокое мнение людей о себе.

Простительно быть глупцом в чем угодно, но только не в поэзии.

Повадки раба и труса — скрываться и прятаться под личиной, не осмеливаясь показаться перед нами таким, каков ты в действительности.



Страх перед возможным падением причиняет мне более пагубную горячку, чем та, которую может причинить сам ушиб. Игра не стоит свеч. Скупцу его страсть доставляет мучения, которые не знает бедняк, а ревнивцу его страсть — муки, неизвестные рогоносцу. И нередко меньшее зло потерять виноградник, чем тягаться из-за него в суде.

Я скорее предпочту, чтобы все мои дела пошли прахом, чем поступлюсь убеждениями ради своего успеха, ибо эту новомодную добродетель притворства и лицемерия я ненавижу самой лютой ненавистью, а из всех всевозможных пороков не знаю другого, который с такой же очевидностью уличал бы в подлости и низости человеческие сердца.

Мне отнюдь не запрещено говорить глупости, лишь бы я не обманывался насчет их настоящей цены.

Глупость — болезнь, которой никогда не страдает тот, кто видит ее в себе: она очень упорна и, как правило, неизлечима, но достаточно одного проницательного взгляда больного, обращенного им на себя самого, чтобы пробить ее толщу и избавиться от нее.

Мы готовы признать за другими превосходство в отваге, телесной силе, опытности, ловкости, красоте, но превосходства в уме мы никому не уступим.

Бог оказывает свою чудодейственную помощь не нашим страстям, но вере и религии.

Лишь тем, в ком есть нечто достойное подражания и чья жизнь и взгляды могут служить образцом, подобает выставлять себя напоказ.

Лгать и постоянно нарушать слово у французов отнюдь не порок; для них это то же, что манера разговаривать. Можно было бы выразиться об этом еще резче, сказав, что в глазах французов наших дней это — подлинная добродетель… ибо двуличие — одна из главнейших черт нашего века.

Это так естественно — сильнее всего отрицать наличие у нас тех недостатков, в которых мы более всего повинны.

Существует ли более явственное проявление малодушия, чем отказ от своих собственных слов, отрицание того, что слишком хорошо за собой знаешь?

Первые жестокости совершаются ради них самих, но они порождают страх перед справедливым возмездием, который влечет за собой полосу новых жестокостей с целью затмить одни средства другими.

Самым большим пороком человеческой природы мудрецы считают непрерывное появление у нас все новых и новых желаний. Мы постоянно начинаем жить сызнова. Надо было бы, чтобы наше стремление учиться и наши желания с годами дряхлели, а между тем, когда мы уже одной ногой стоим в могиле, у нас все еще пробуждаются новые стремления.

Мы часто ругаем тех, на кого сердимся, первыми же сорвавшимися с языка словами, совершенно неуместными по отношению к тем, к кому мы их применяем.

Там, где любовь и честолюбие одинаково сильны и приходят в противоборство между собой, честолюбие неминуемо возобладает.

Великое дело — уметь обуздать свои страсти доводами разума или сдержать неистовые порывы своего тела.

Есть ли хоть какая-нибудь форма, которую

порок не пожелал бы использовать, ища возможность проявиться?

Обман не так страшен, когда враг оказывается на деле более слабым, чем ожидали, нежели тогда, когда враг оказывается более сильным, чем предполагали по слухам.

Бывает ложное смирение, порождаемое высокомерием.

Если я предназначен служить орудием обмана, пусть это будет по крайней мере без моего ведома.

Вероломство может быть иногда извинительным; но извинительно оно только тогда, когда его применяют, чтобы наказать и предать вероломство.



Злоба чаще всего впитывает в себя свой собственный яд и отравляется им.

Подобно тому, как язва оставляет на теле человека рубец после себя, так и порок оставляет в душе раскаяние, которое, постоянно кровоточа, не дает нам покоя.

Рассудок, успокаивая печали и горести, порождает горечь раскаяния, которая тяжелее всего, так как она точит нас изнутри; ведь жар и озноб, порожденные лихорадкой, более ощутительны, чем действующие на нас снаружи.

Я считаю пороками не только то, что осуждается разумом и природой, но и то, что признается пороком в соответствии с представлениями людей, пусть даже ложными и ошибочными, если законы и обычай подтверждают такую оценку.

Только вам одному известно, подлы ли вы и жестокосердны, или честны и благочестивы, другие вас вовсе не видят; они составляют себе представление о вас на основании внутренних догадок, они видят не столько вашу природу, сколько ваше умение вести себя среди людей; поэтому не считайтесь с их приговором, считайтесь со своим.

Иные связанные с пороком природными узами или сжившиеся с ним в силу давней привычки уже не видят в нем никакого уродства.

Можно отринуть и побороть пороки, которые иногда охватывают нас и к которым нас влекут страсти, но пороки, укоренившиеся и закосневшие вследствие долгой привычки в душе человека с сильной несгибаемой волей, не допускают противодействия.

Нередко случается, что порочные души под влиянием какого-нибудь побуждения извне творят добро, тогда как души глубоко добродетельные — по той же причине — зло.

Существуют грехи, которые увлекают нас стремительно, неодолимо, внезапно.

Порицать в другом свои недостатки, думается мне, столь же допустимо, как порицать — а это я делаю весьма часто — чужие в себе, обличать их следует всегда и везде, не оставляя им никакого пристанища.

Я считаю, что нет ни одного душевного качества, которое можно подделать с такой же легкостью, как благочестие, если образ жизни не согласуется с ним: сущность его непознаваема

и таинственна, внешние проявления — общепонятны и облачены в пышный наряд.

Раскаяние только тогда возьмет верх над грехом, если перевесит его на чаше весов.

Раскаяние, в сущности, не распространяется на те вещи, которые нам не по силам; тут следует говорить о сожалении.

Если бы, представляя себе более благородный образ действий, чем наш, и стремясь к нему всей душой, мы ощущали раскаяние, нам пришлось бы раскаиваться в самых невинных делах и поступках, — ведь мы хорошо понимаем, что человек с более выдающимися природными данными сделал бы то же самое лучше и благороднее.

Жажда мщения — страсть в высшей степени сладостная, ей свойственно некоторое величие, и она вполне естественна.

Разнообразие всегда облегчает, раскрепощает и отвлекает.

Наслаждению не знакомо тщеславие; оно ценит себя слишком высоко, чтобы считаться с молвой и охотнее всего пребывает в тени.

Всякий скромен в признаниях; так пусть же он

будет скромен и в поступках; готовность впасть в прегрешения некоторым образом сдерживается и возмещается готовностью к признанию в них. Кто обяжет себя говорить все без утайки, тот обяжет себя и не делать того, о чем необходимо молчать.

О несчастный человек! У тебя и так достаточно неотвратимых невзгод, а ты еще умножаешь их надуманными; ты и так достаточно жалок, незачем тебе умышленно делать свою участь еще более жалкой.



Нужно увидеть и постигнуть свои недостатки, чтобы уметь рассказать о них. Кто таит их от другого, тот таит их и от себя.

Нужно отбросить прочь нелепые тряпки, под которыми прячутся наши нравы. Люди отправляют свою совесть в дома терпимости, но блюдут внешнюю добропорядочность. Все до последнего человека — вплоть до предателей и убийц — свято придерживаются приличий и почитают своею обязанностью неуклонно следовать им.

До чего же прискорбно, когда дурной человек не бывает к тому же глупцом и когда напускная благопристойность прикрывает собою таящийся под ней порок!

Кто не знает себя, те могут кичиться незаслуженным одобрением, но со мной такого случиться не может, ибо я вижу себя насквозь.

Мы щедры на выдумки лишь в одном, а именно: как бы причинить себе зло, и оно, поистине, дичь, гонясь за которой, мы растрачиваем силы своего ума, этого опасного орудия нашей беспутности!

Жажда общения заметно ослабевает, если ей предоставить хоть некоторую свободу.

Мы легко одолеем внешние недостатки, если победим внутренние.

Кто не хочет сохранять в чистоте свою совесть, пусть сохранит незапятнанным хотя бы имя: если сущность не заслуживает доброго слова, пусть его стоит хотя бы внешность.

Отучив людей от щепетильности в выборе выражений, мы не причиним миру большого вреда.

Философия нисколько не ополчается против страстей естественных, лишь бы они знали меру, и она проповедует умеренность в них, а не бегство от них; ее усилия в борьбе с ними направлены лишь против тех страстей, которые чужды нашей природе и привносимы извне.

Неотъемлемая черта жадности — неблагодарность.

Честолюбие для своего удовлетворения часто выбирает пути обходные и необычные.

Иметь дело с людьми, которые восхищаются нами и во всем нам уступают, — удовольствие пресное и даже весьма вредное для нас… Я гораздо больше горжусь победой, которую одерживаю

над самим собой, когда в самом пылу спора, заставляю себя склониться перед доводами противника, чем радуюсь, одолевая противника из-за его слабости.

Невозможно вести честный и искренний спор с дураком.

Брань во время споров должна запрещаться и караться, как и другие словесные преступления… Тот, кто вооружен лишь бранными словами, ищет любого пустякового предлога, чтобы рассориться и тем самым уклониться от беседы с человеком, с которым он не может тягаться умом.

Сказать по правде, нет глупости больше, назойливее и диковиннее, чем возмущаться и оскорбляться глупостями, творящимися вокруг нас. Ибо эта глупость обращается против нас же.

Глупость и разброд в чувствах — не такая вещь, которую можно исправить добрым советом… Близким своим мы обязаны оказывать такую помощь, прилежно учить их и наставлять, но проповедовать любому прохожему, исправлять невежество и тупость первого встречного — вот обычай, которого я никак не одобряю.

Упрямство и чрезмерный пыл в споре — вер-

нейший признак глупости.

Пороком является также неспособность правильно оценить собственные возможности и говорить о себе больше, чем сам видишь.

Кто без причины жалуется, тот не встретит отклика на свои жалобы и тогда, когда они не будут беспричинными.



Следовало бы иметь установленные законами меры воздействия, которые обуздывали бы бездарных и никчемных писак, как это делается в отношении праздношатающихся и тунеядцев… Страсть к бумагомаранию, является, очевидно, признаком развращенности века.

Мы живем в мире, где честность, даже в собственных детях — вещь неслыханная.

Я ни в ком не подозреваю пороков, пока не увижу их своими глазами.

Даже недостатки находят себе поклонников.

Жаловаться всегда — значит никогда не встречать отклика на свои жалобы; часто изображать страдания — значит ни в ком не пробуждать сострадания.

Благородно и независимо высказанное признание ослабляет силу упрека и выбивает оружие из рук оскорбителя.

Человеческое благоразумие никогда еще не поднималось до той высоты, которую оно себе предписало.

Лучше немного безумия, чем тьма глупости, говорят наставления наших учителей, и еще

убедительнее — оставленные ими примеры.

Даже наслаждение в глубинах своих мучительно.

Нельзя слепо отдаваться своим страстям и нестись сломя голову в погоню за выгодой.

Кто не умеет захлопнуть дверь перед своими бурными чувствами, тот не изгонит их, когда они вторгнутся внутрь.

Мне настолько же легко избегать страстей, как трудно их умерять.

Иные люди считают, что разумные соображения могут быть поняты только под звуки фанфар.

Честолюбие — порок не для мелких людишек.

Наш мир создан словно лишь для чванства: людей, надутых воздухом, кто-то подбрасывает вверх, как воздушные шары.

Длительно перенося что-либо, начинаешь привыкать к нему, а привычка порождает примирение со злом и даже подражание ему.

Гораздо обиднее, когда тебя обирают в безопасном месте, чем в темном лесу.

Самоуверенность и упрямство — явные признаки глупости.

Погоня за всеми известными нам удовольствиями сама по себе вызывает приятное чувство.

Наши удовольствия частенько испытывают друг к другу зависть и вражду: между ними происходят столкновения и распри.

Невоздержанность — чума для наслаждения, а воздержанность отнюдь не бич его, а наоборот — украшение.

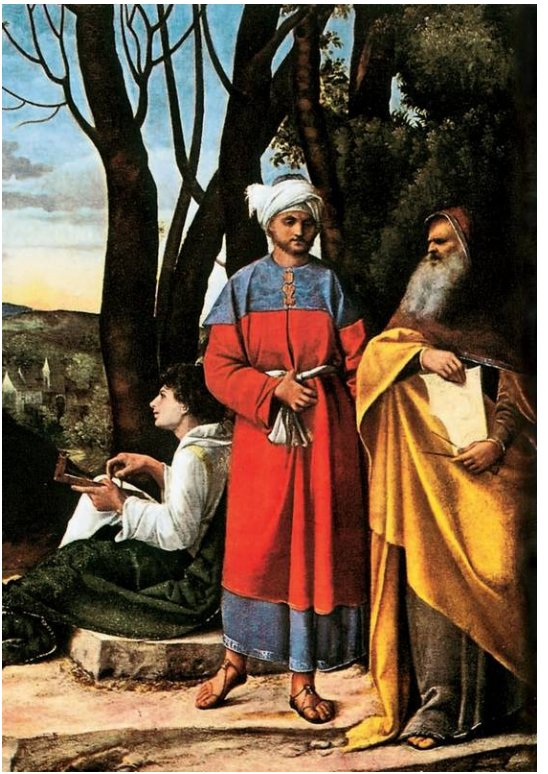
Если одна сторона охвачена гневом, дадим ей разрядиться, и тогда мир всегда будет обеспечен.

Надо избегать таких наслаждений, которые влекут за собой еще большие страдания, и принимать с готовностью страдания, несущие за собой несравненно большие наслаждения.

Презирать то, что мы не можем постигнуть, — опасная смелость, чреватая неприятнейшими последствиями, не говоря уж о том, что это нелепое безрассудство.

Я не знаю, какой выгоды ждут для себя те, кто без конца лжет и притворяется; на мой взгляд, единственное, что их ожидает, так это то, что да-

же если им случится сказать правду, им все равно никто не поверит. Ведь с помощью лжи можно обмануть людей разок-другой, но превращать в ремесло свое притворство и похваляться им, как это делают иные из наших властителей, — это значит заранее предупреждать тех, кому предстоит иметь с ним дело, что всякое слово, слетевшее с уст подобных властителей, не что иное, как ложь и обман.



Знание и богатство



Судить о чем бы то ни было надо опираясь на разум, а не общее мнение.

Мозг, хорошо устроенный, стоит больше, чем мозг, хорошо наполненный.

Если я цитирую других, то лишь для того, чтобы лучше выразить свою собственную мысль.

Кто достаточно знает себя, тот не посчитает чужого дела своим, тот больше всего любит себя и печется о своем благе, тот отказывается от бесполезных занятий, бесплодных мыслей и неразрешимых задач.

Надо много учиться, чтобы осознать, что знаешь мало.

Человек крайне неразумен, он не в состоянии создать клеща, а между тем десятками создает богов.

Никто не огражден от возможности сказать глупость. Беда, когда ее высказывают обдуманно.

Знание не нужно нацеплять на душу, его нужно внедрять в нее; его не нужно наводить на нее, им нужно пропитывать ее.

Знания — обоюдоострое оружие, которое толь-

ко обременяет и может поранить своего хозяина, если рука, которая держит его, слаба и плохо умеет им пользоваться.

Истинным раздольем и лучшим поприщем для обмана является область неизвестного.

Люди ничему так твердо не верят, как тому, о чем они меньше всего знают, и никто не выступает с такой самоуверенностью, как сочинители всяких басен — например, алхимики, астрологи, предсказатели, хироманты…

Нет стремления более естественного, чем стремление к знанию.

Не представляю себе, как можно довольствоваться знаниями, полученными из вторых рук; хотя чужое знание может нас кое-чему научить, мудр бываешь лишь собственной мудростью.

Наука — великое украшение и весьма полезное орудие.

Наука — великолепное снадобье; но никакое снадобье не бывает столь стойким, чтобы сохраняться, не подвергаясь порче и изменениям, если плох сосуд, в котором его хранят.

Наука — дело очень нелегкое. Наука пригодна

лишь для сильных умов.

Философия призывает нас только к праздности и веселью. Если перед вами нечто печальное и унылое — значит, философии тут нет и в помине.

Ум, не имеющий никакой определенной цели, теряется; быть везде — значит быть нигде.

Те, кто уверяет, что имеет в голове много мыслей, но выразить их не умеет из-за отсутствия красноречия, — не научились понимать самих себя.

Чтобы обучить другого, требуется больше ума, чем чтобы научиться самому.

Очень полезно оттачивать и шлифовать свой ум об умы других.

Пытливости нашей нет конца, удовлетворенность ума — признак его ограниченности или усталости.

Книги сопровождают меня на протяжении всего моего жизненного пути, и я общаюсь с ними всегда и везде. Они утешают меня в мои старые годы и в моем уединенном существовании. Они снимают с меня бремя докучной праздности и в

любой час дают мне возможность избавляться от неприятного общества. Они смягчают приступы физической боли, если она не достигает крайних пределов и не подчиняет себе все остальное.

Если, с одной стороны, наш ум крепнет вследствие соприкосновения с умами обширными и развитыми, то, с другой стороны, нельзя себе представить, насколько он теряет и вырождается вследствие постоянного знакомства и сношения с умами низменными и болезненными.



Бич человека — это воображаемое знание.

Надо стараться выяснить — не кто знает больше, а кто знает лучше.

Если мы зовем диковинным и чудесным недоступное нашему разуму, то сколько же таких чудес непрерывно предстает нашему взору!

Если можно быть учеными чужой ученостью, то мудрыми мы можем быть лишь собственной мудростью.

Книжная ученость — украшение, а не фундамент.

Самым лучшим доказательством мудрости является непрерывное хорошее расположение духа.

Я люблю науку, но не боготворю ее.

Очень многих я видел на своем веку, которые были доведены до совершенной тупости неумеренной жаждой знания.

Подлинно разумное обучение изменяет и наш ум, и наши нравы.

Только глупцы могут быть непоколебимыми в своей уверенности.

Люди ничему не верят так твердо, как тому, о чем они меньше всего знают.

В общении с людьми ум человеческий достигает изумительной ясности.

Мы берем на хранение чужие мысли и знания, только и всего. Нужно, однако, сделать их собственными.

По правде говоря, знания представляются мне менее ценными, нежели ум. Последний может обойтись без помощи, тогда как первые не могут обойтись без ума.

Ученость как таковая сама по себе есть нечто безличное. Для благородной души она может быть добавлением очень полезным, для какой-нибудь иной — вредоносным и пагубным. Вернее было бы сказать, что она вещь драгоценная для того, кто умеет ею пользоваться.

Когда наукой пользуются как должно, это самое благородное и великое из достижений рода человеческого.

Истинные ученые подобны колосьям в поле. Пока колос пуст, он весело растет и гордо подымает кверху главу; но когда он разбухает, наполняется

зерном и созревает, он проникается смирением и опускает голову.

Лучший способ запомнить что-нибудь — постараться это забыть.

Невежество бывает двоякого рода: одно, безграмотное, предшествует науке; другое, чванное, следует за нею.

Мы трудимся лишь над тем, чтобы заполнить свою память, оставляя разум и совесть праздными.

Первоначально чье-либо личное заблуждение становится общим, а затем уж общее заблуждение становится личным. Вот и растет постройка, к которой каждый прикладывает руку так, что самый дальний свидетель события оказывается осведомленным лучше, чем непосредственный, а последний человек, узнавший о нем, — гораздо более убежденным, чем первый.

Признаваться в незнании — одно из лучших и вернейших доказательств наличия разума.

То, что мы меньше всего знаем, лучше всего годится для обожествления.

Мы готовы признать за другими превосходство

в отваге, телесной силе, опытности, ловкости, красоте, но превосходства в уме мы никому не уступим.

Кто ясно видит величие чужой мысли, тот и сам поднимается до того же уровня и возносит свою мысль на ту же самую высоту.

Какая же это Истина, если она правда по одну сторону гор и неправда — по другую.



В тех, кто ставит своей неизменной целью домогаться возможно большей учености, кто берется за писание ученых трудов и за другие дела, требующие постоянного общения с книгами, — в тех обнаруживается столько чванства и умственного бессилия, как ни в какой другой породе людей.

Истина настолько великая вещь, что мы не должны пренебрегать ничем, что ведет к ней.

Я говорю правду постольку, поскольку осмеливаюсь ее говорить; чем старше я становлюсь, тем реже осмеливаюсь это делать.

Если бы ложь, подобно истине, была одноликою, наше положение было бы значительно легче. Мы считали бы в таком случае достоверным противоположное тому, что говорит лжец. Но противоположность истине обладает сотней тысяч обличий и не имеет пределов.

Истина не становится мудрее от своего возраста.

Кто попал далее цели, так же точно промахнулся, как и тот, кто не попал в цель.

Описывать прошлое — меньший риск, чем опи-

сывать настоящее, ибо в этом случае писатель отвечает только за точную передачу заимствованного им у других.

Весло, погруженное в воду, кажется нам надломленным. Таким образом, важно не только то, что мы видим, но и как мы это видим.

У кого тощее тело, тот напяливает на себя много одежек; у кого скудная мысль, тот приукрашивает ее напыщенными словами.

Если не занять наш ум определенным предметом, который держал бы его в узде, он начинает метаться из стороны в сторону… по бескрайним полям воображения. И нет такого безумия, таких бредней, которых не порождал бы наш ум, пребывая в таком возбуждении.

Легко видеть, что именно обостряет наши страдания и наслаждения: это — сила действия нашего ума.

Ценностью вещей мы называем не то, что они в состоянии нам доставить, но то, какой ценой мы их себе достали… Алмазу придает достоинство спрос, добродетели — трудность блюсти ее, благочестию — претерпеваемые лишения, лекарству — горечь.

Обосновывать изначальные и всеобщие истины не так-то просто.

Чем острее и проницательнее наш ум, тем отчетливее он ощущает свое бессилие и тем меньше доверяет судьбе.

Принимая во внимание способ, которым нас обучают, неудивительно, что ни ученики, ни сами учителя не становятся от этого мудрее, хотя и приобретают ученость. И в самом деле заботы и издержки наших отцов не преследуют другой цели, как только забить нашу голову всевозможными знаниями; что до разума и добродетели, то о них почти не помышляют.

Нередко бывает, что врач, менее, чем всякий другой, печется о врачевании своих недугов, теолог — о самосовершенствовании, а ученый — о подлинных знаниях.

Истина и доводы разума принадлежат всем, и они не в большей мере достояние тех, кто высказал их впервые, чем тех, кто высказал их впоследствии.

Выгода, извлекаемая нами из наших занятий, заключается в том, что мы становимся лучше и мудрее.

Ученость чисто книжного происхождения — жалкая ученость.

Познакомившись с великим разнообразием характеров, сект, суждений, взглядов, обычаев и законов, мы научаемся здраво судить о собственных, а также приучаем наш ум понимать его несовершенство.

Отличительный признак мудрости — это неизменно радостное восприятие жизни.



Мудрость успокаивает душевные бури, научает сносить с улыбкой болезни и голод… опираясь на вполне осязательные, естественные доводы разума.

Полагаю, что тот, у кого в голове сложилось о чем-либо живое и ясное представление, сумеет передать его на любом, хотя бы тарабарском наречии.

Это словам надлежит подчиняться и идти вслед за мыслями, а не наоборот.

Красноречие, отвлекая на себя наше внимание, наносит ущерб самой сути вещей.

Желание отличиться от всех остальных непринятым и необыкновенным покроем одежды говорит о мелочности души; то же и в языке: напряженные поиски новых выражений и малоизвестных слов порождаются ребяческим тщеславием.

Подражание чужой речи в силу ее доступности — вещь, которой постоянно занимается целый народ; но подражать в мышлении и в воображении — это дается не так уж легко. Большинство читателей, находя облачение одинаковым, глубоко заблуждаются, полагая, что под ним скрыты и

одинаковые тела. Силу и сухожилия нельзя позаимствовать; заимствуют только уборы и плащи.

Можно поучиться и у врага.

Я прежде всего хотел бы знать надлежащим образом свой родной язык, а затем язык соседних народов, с которыми я чаще всего общаюсь.

Разум мой научил меня, что с решимостью осуждать что бы то ни было, как ложное и невозможное, — значит приписывать себе преимущество знать границы и пределы воли Господней и могущества матери нашей природы; а нет на свете большего безумия, чем мерить их мерой наших способностей и нашей осведомленности.

Кто никогда не видел реки, тот, встретив ее в первый раз, подумает, что перед ним океан.

Люди с более тонким умом наблюдают с большей тщательностью и видят больше, но они склонны придавать всему свое толкование и, желая набить цену… не могут удержаться, чтобы не исказить хоть немного правду… они охотно присочиняют кое-что от себя, так сказать, расширяя и удлиняя истину.

Поэзия прекрасная, выдающаяся, божественная

— выше наших правил и выше нашего разума. Тот, кто способен уловить ее красоту… может разглядеть ее не более чем сверкание молнии. Она нисколько не обогащает наш ум; она пленяет и опустошает его.

Я стараюсь по возможности идти не столько вширь, сколько вглубь, и порою мне нравится смотреть на вещи под необычным углом зрения.

Я не могу заставить себя поверить, чтобы неразвитый ум мог сотворить больше, чем ум сильный и развитой, а также, чтобы с помощью размышления нельзя было достигнуть того же, что достигается простой привычкой.

Книги приятны, но если, погрузившись в них, мы утрачиваем в конце концов здоровье и бодрость — самое ценное достояние наше, — то не лучше ли оставить и их. Я принадлежу к числу тех, кто считает, что польза от них не может возместить эту потерю.

Есть науки бесплодные и бесполезные, и большинство из них создано ради житейской суеты.

Рассуждение есть орудие, годное для всякого предмета, и оно примешивается всюду.

Если речь идет о предмете мне неясном, я именно для того и прибегаю к рассуждению, чтобы издали нащупать брод и, найдя его слишком глубоким для моего роста, стараюсь держаться поближе к берегу. Но уже одно понимание того, что переход невозможен, есть результат рассуждения, притом один из тех, которыми… можно гордиться.

Есть все основания утверждать, что невежество бывает двоякого рода: одно, безграмотное, предшествует науке; другое, чванное, следует за нею. Этот второй род невежества так же создается и порождается наукой, как первый разрушается и уничтожается ею.



Я не ищу никакого другого удовольствия от книг, кроме разумной занимательности.

Я редко читаю новых авторов, ибо древние кажутся мне более содержательными и более тонкими.

Я достаточно понимаю, что такое наслаждение и что такое смерть, — пусть не тратят времени на копание в этом: я ищу прежде всего убедительных веских доводов, которые научили бы меня справляться с этими вещами. Ни грамматические ухищрения, ни остроумные словосочетания и тонкости здесь ни к чему: я хочу суждений, которые бы затрагивали самую суть дела.

Я обладаю особого рода любопытством: я стремлюсь узнать душу и сокровенные мысли моих авторов. По тем писаниям, которые они отдают на суд света, следует судить об их дарованиях, но не о них самих и их нравах.

Единственно доброкачественные исторические сочинения были написаны людьми, которые сами вершили эти дела, либо причастны были к руководству ими, или теми, на долю которых выпало, по крайней мере, вести другие подобного же рода дела.

Чего можно ждать от врача, пишущего о делах войны, или от ученика, излагающего планы государей?

Надо признать, что наши познания в нашей собственной истории весьма слабы.

Наука — это поистине очень важное и очень полезное дело, и те, кто презирают ее, в достаточной мере обнаруживают свою глупость… Но я не считаю также, как утверждают некоторые, что наука — мать всех добродетелей и что всякий порок есть следствие невежества.

Мое мнение о вещах не есть мера самих вещей.

Возвышенные тайны нашей религии познаются глубоко и подлинно только верой, но это отнюдь не значит, что не было бы делом весьма похвальным и прекрасным поставить на службу нашей религии естественные и человеческие орудия познания, которыми наделил нас Бог.

Знание и мудрость являются уделом только Бога, лишь он один может что-то о себе мнить, мы же крадем у него то, что мы себе приписываем.

Не смешно ли, что человек, это ничтожное

и жалкое создание, которое не в силах даже управлять собой и предоставлено ударам всех случайностей, объявляет себя властелином и владыкой вселенной, малейшей частицы которой оно даже не в силах познать, не то что повелевать ею!

Если даже та доля разума, которой мы обладаем, уделена нам небом, как же может эта крупица разума равнять себя с ним?

Я видел на своем веку сотни ремесленников и пахарей, которые были более мудры и счастливы, чем ректоры университетов, и предпочел бы походить на этих простых людей. Знание, по-моему, относится к вещам, столь же необходимым в жизни, как слава, доблесть, высокое звание или же — в лучшем случае — как красота, богатство и тому подобные качества, которые, конечно, имеют в жизни значение, но не решающее, а гораздо более отдаленное и скорее благодаря нашему воображению, чем сами по себе.

Если бы человек был мудр, он расценивал бы всякую вещь в зависимости от того, насколько она полезна и нужна ему в жизни.

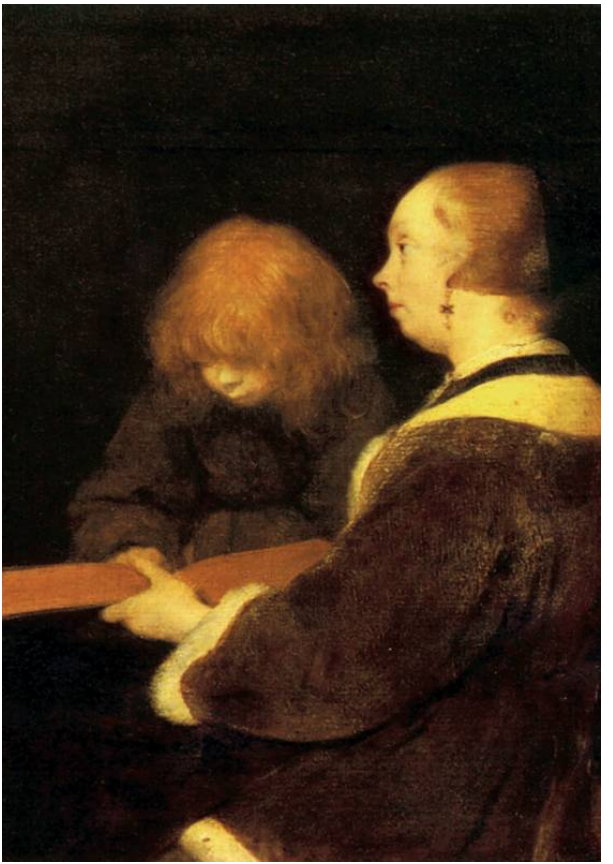
Если судить о нас по нашим поступкам и пове-

дению, то намного больше превосходных людей (имею в виду во всякого рода добродетелях) окажется среди лиц необразованных, чем среди ученых.

Стремление умножить свои познания, тяга к мудрости с самого начала были на пагубу человеческому роду, это и есть путь, который привел человека к вечному осуждению.

Наилучшей наукой для человека является наука незнания и величайшей мудростью — простота.

Только сам Бог может познать себя и истолковать свои творения.



Всякий ищущий решения какого-либо вопроса в конце концов приходит к одному из следующих заключений: он либо утверждает, что нашел искомое решение, либо — что оно не может быть найдено, либо — что он все еще продолжает поиски. Вся философия делится на эти направления.

Неведение, которое сознает себя, судит и осуждает себя, уже не есть полное неведение; чтобы быть таковым, оно не должно сознавать себя.

Наука выдает нам за истины и вероятные гипотезы вещи, которые она сама признает вымышленными.

Мы устроены так, что даже познание того, что лежит у нас в руках, не менее удалено от нас и не менее для нас недосягаемо, чем познание небесных светил.

Из общепризнанных положений нетрудно построить все, что угодно, так как остальная часть сооружения строится легко без препятствий, по тому же закону, что и остальные.

Совершенно справедливо признано, что нет такой вещи, относительно которой люди — а я имею в виду даже самых крупных и самых выдающихся ученых — были бы согласны между

собой, даже относительно того, что небо находится над нашей головой, ибо те, кто сомневаются во всем, сомневаются и в этом.

Всякая наука имеет свои признанные принципы, которыми человеческое суждение связано со всех сторон.

Уверенность в несомненности есть вернейший показатель неразумия и крайней недостоверности.

Наш разум — это подвижный, опасный, своенравный инструмент; его нелегко умерить и втиснуть в рамки. В наше время мы замечаем, что те, кто выделяется каким-нибудь особым превосходством по сравнению с другими или необычайным умом, обнаруживают полнейшее своеволие как в своих мнениях, так и в поведении.

Встретить степенный и рассудительный ум — просто чудо.

Разум — это такая скользкая вещь, что ее ни за что не ухватишь и никак не удержишь, он столь многолик и изменчив, что невозможно ни поймать его, ни связать. Поистине мало таких уравновешенных, сильных и благородных людей,

которым можно было бы предоставить поступать по их собственному разумению и которые благодаря своей умеренности и осмотрительности, могли бы свободно руководствоваться своими суждениями, не считаясь с общепринятыми мнениями.

Нелегко установить границы нашему разуму: он любознателен, жаден и столь же мало склонен остановиться, пройдя тысячу шагов, как пройдя пятьдесят.

Я убедился на опыте, что то, чего не удалось достичь одному, удается другому, что то, что осталось неизвестно одному веку, разъясняется в следующем; что науки и искусства не отливаются сразу в готовую форму, но образуются и развиваются постепенно, путем повторной многократной обработки и отделки.

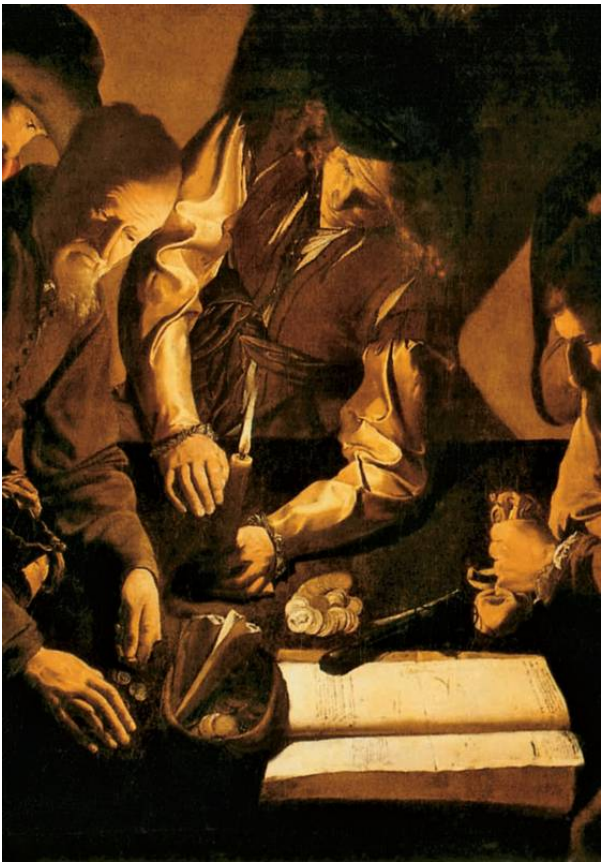
Следует всегда помнить — что бы нам ни проповедовали и чему бы нас ни учили, — что тот, кто открывает нам что-либо, как и тот, кто воспринимает это, всего лишь человек.

Разумом я всегда называю ту видимость логического рассуждения, который каждый из нас считает себе присущей; этот разум, обладающий

способностью иметь сто противоположных мнений об одном и том же предмете, представляет собой инструмент из свинца и воска, который можно удлинять, сгибать и приспособлять ко всем размерам: нужно только умение владеть им.

Та легкость, с какой умные люди могут сделать правдоподобным все, что захотят, благодаря чему нет ничего столь необычного, чего они не сумели бы преобразить настолько, чтобы обмануть такого простака, как я, — лучше всего доказывает слабость их доводов.

Не всякому верь, — говорит пословица, — ибо всякий может сказать все, что ему вздумается.



Учитывая успехи, достигнутые нашей наукой в течение веков, я часто поражался, видя, что у народов, отделенных друг от друга огромными расстояниями и веками, существует множество одинаковых и широко распространенных чудовищных воззрений, диких нравов и верований, которые никак не вытекают из нашего природного разума. Поистине человеческий ум — большой мастер творить чудеса, но в этом сходстве есть нечто еще более поразительное: оно проявляется даже в совпадении имен, отдельных событий и в тысяче других вещей.

Если природа в своем непрерывном движении ограничивает определенными сроками, как и все другие вещи, также взгляды и суждения людей, если они также только известное время бывают в ходу и имеют, подобно овощам, свой сезон, свои сроки рождения и смерти… то какое постоянное и неизменное значение можем мы им приписывать?

Философы ни о чем не спорят так страстно и так ожесточенно, как по поводу того, в чем состоит высшее благо человека.

Существует название вещи и сама вещь; название — это слово, которое указывает на вещь и

обозначает ее. Название не есть ни часть вещи, ни часть ее сущности. Это нечто присоединенное к вещи и пребывающее вне ее.

Разум человеческий — меч обоюдоострый и опасный.

Всякое доказательство не имеет других оснований, кроме опыта, а многообразие дел человеческих снабжает нас бесчисленными примерами всякого рода.

По утверждению мудрецов, учиться надо смолоду, на старости же лет — наслаждаться знаниями.

Можно продолжать учиться всю жизнь, но не начаткам школьного обучения: нелепо, когда старец садится за букварь.

То, чего мы не видели своими глазами, мы берем из вторых рук и принимаем на веру.

Сведущий человек не бывает равно сведущ во всем, но способный — способен во всем, даже пребывая в невежестве.

Сочинять книги без знаний и мастерства — не означает ли то же самое, что класть крепостную стену без камней?

Для всякого, кто умеет как следует оценить свои возможности и в полной мере использовать их, размышление — могущественный и полноценный способ самопознания.

Науки рассматривают изучаемые ими предметы чересчур хитроумно, и подход у них к этим предметам чересчур искусственный и резко отличающийся от общепринятого и естественного.

Самое плодотворное и естественное упражнение нашего разума — беседа.

Неукротимость воображения — вот что возвышает и украшает речь.

Так как ум наш укрепляется общением с умами сильными и ясными, нельзя и представить себе, как много он теряет, как опошляется в каждодневном соприкосновении и общении с умами низкими и ущербными.

Глупость — свойство пагубное, но неспособность переносить ее, терзаясь раздражением, — тоже недуг, не менее докучный, чем глупость, и я готов признать за собою этот недостаток.

Никакое суждение не поразит меня, никакое меня не оскорбит, как бы они ни были мне чужды.

Нет причуды столь легкомысленной и странной, которую я не счел бы вполне допустимым порождением человеческого ума.

Противные суждения не оскорбляют и не угнетают меня, а только возбуждают и дают толчок моим жизненным силам.

Я люблю, чтобы порядочные люди смело говорили друг с другом и слова у них не расходились с мыслями.



Кто бы ни преподносил мне истину, я радостно приветствую ее, охотно сдаюсь ей, протягиваю ей свое опущенное оружие, даже издалека видя ее приближение.

Мы рождены для поисков истины. Обладание же ею дано лишь более высокому и мощному духу.

Мир наш — только школа, где мы учимся познавать.

Тот, кто вещает истину, может быть таким же дураком, как и тот, кто городит вздор: ибо дело не столько в том, что именно сказано, сколько в том, как сказано.

Любой человек может сказать нечто соответствующее истине, но выразить это красиво, разумно, немногословно смогут не столь уж многие.

Люди большей частью богаты чужой мудростью. Каждый может употребить ловкое выражение, удачно изречь что-нибудь или удачно ответить и, выступив со всем этим, даже не отдавать себе отчета в подлинном значении своих слов.

Истина и ложь сходны обличием, осанкой, вкусом и повадками: мы смотрим на них одними и теми же глазами.

Я нахожу, что мы не только малодушно поддаемся обману, но и сами стремимся и жаждем попасть в его сети.

Люди обычно ни к чему так не стремятся, как к тому, чтобы возможно шире распространить свои убеждения. Там, где нам это не удается обычным способом, мы присовокупляем приказ, силу, железо, огонь. Беда в том, что лучшим доказательством истины мы склонны считать численность тех, кто в нее уверовал.

Если хочешь излечиться от невежества, надо в нем признаться. В начале всяческой философии лежит удивление, ее развитием является исследование, ее концом — незнание.

Надо сказать, что существует незнание, полное силы и благородства, в мужестве и чести ничем не уступающее знанию, незнание для постижения которого надо ничуть не меньше знания, чем для права называться знающим.

Почти все наши мнения опираются на некий авторитет и на веру.

Трудности и темные места любой науки заметны лишь тем, кто ею овладел.

Мудрость есть здание прочное и цельное, каждая часть которого занимает строго определенное место и имеет свой признак.

Ни один благородный ум не остановится по своей воле на достигнутом: он всегда станет притязать на большее, и выбиваться из сил, и рваться к непостижимому.

О гнусное или бессмысленное занятие — без конца заниматься своими деньгами, находя удовольствие в их перебирании, взвешивании и пересчитывании! Вот поистине путь, которым в нас тихой сапой вползает жадность.

Если жить в нужде плохо, то нет никакой нужды жить в нужде.

Нельзя полагаться на те доходы, которые мы только надеемся получить, какими бы верными они нам ни казались.

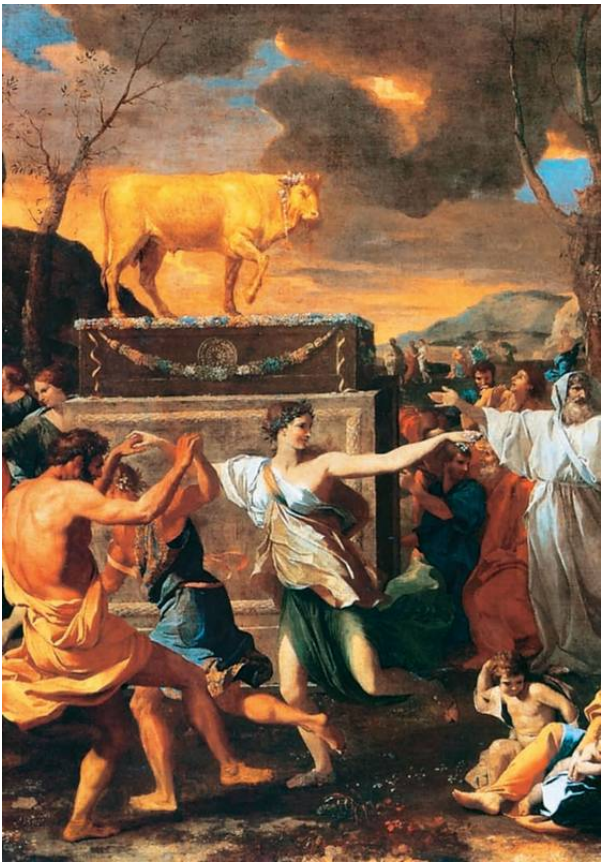
Не нужда, но скорее изобилие порождает в нас жадность.

Для меня нет ничего более ненавистного, чем торговаться: это сплошное надувательство и

бесстыдство; после целого часа споров и жульничества обе стороны нарушают ранее данное ими слово ради каких-нибудь пяти су.

Судьбе ничего не стоит пробить сотню брешей в нашем богатстве, открыв тем самым путь к нищете, и нередко случается, что она не допускает ничего среднего между полнейшим благоденствием и полным крушением.

Всякий денежный человек, на мой взгляд — скопидом.



Как только вы приучили себя к мысли, что обладаете той или иной суммой, и твердо это запомнили — вы уже больше не властны над ней, и вам страшно хоть сколько-нибудь из нее израсходовать. Вам все будет казаться, что перед вами строение, которое разрушится до основания, стоит лишь вам только прикоснуться к нему.

Накопленное богатство невольно стараешься все время увеличить и приумножить, не беря из него чего-либо, а прибавляя, вплоть до того, что позорно отказываешься от пользования в свое удовольствие своим же добром, которое хранишь под спудом, без всякого употребления.

Счастлив тот, кто сумел с такой точностью соразмерять свои нужды, что его средства оказываются достаточными для удовлетворения их, без каких-либо хлопот и страданий с ее стороны.

Счастлив тот, кого забота об управлении имуществом или об его преумножении не отрывает от других занятий, более соответствующих складу его характера, более спокойных и приятных ему.

Вообще говоря, нет такой выгоды, которая не была бы связана с ущербом для другого, и если так рассуждать, следовало бы осудить любой

заработок.

Кто не может ссужать, тот не должен и брать взаймы.

Купец наживается на мотовстве молодежи, земледелец — благодаря высокой цене на хлеб, строитель — вследствие того, что здания приходят в упадок и разрушаются… Ни один врач не радуется здоровью даже близких своих друзей, ни один солдат — тому, что его родной город в мире со своими соседями… Покопайся каждый из нас хорошенько в себе, и он обнаружит, что самые его сокровенные желания и надежды возникают и питаются по большей части за счет кого-нибудь другого.

Жажда обогащения, подобно всем другим страстям, владеющим человеком, становится более жгучей, когда человек уже испробовал, что такое богатство, чем тогда, когда он вовсе не знал его; а кроме того, добродетель умеренности встречается много реже, чем добродетель терпения.

Поразительное свидетельство немощности нашего разума заключается в том, что он оценивает всякую вещь с точки зрения ее редкости и новизны, а также малодоступности, хотя бы сама по

себе она и не содержала в себе ничего хорошего и полезного.

Человек, полагая, что недостаток — в самих вещах, начинает вкушать и поглощать другие вещи, которых доселе не знал.

Люди умелые извлекают кое-какую пользу даже из строптивой и норовистой лошади.

Самая низкая ступенька — самая прочная; она — основа устойчивости всей лестницы. Стоя на ней, можно ни о чем не тревожиться: будучи вделана накрепко, она служит опорой всему остальному.

Тому, кому судьба отказала в местечке, где он мог бы обосноваться и обеспечить себе спокойную и беззаботную жизнь, — тому простительно рисковать тем, чем он владеет, поскольку так ли, иначе ли, а нужда все равно заставит его пуститься в погоню за счастьем.

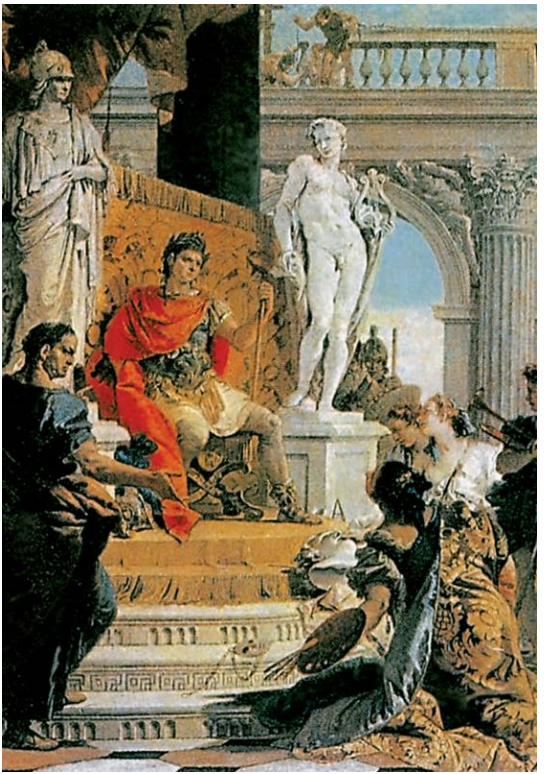
В нашей стране и в наше время ученость может быть полезной для кармана, но душе она редко что-либо дает.

Чтобы накапливать деньги, нужны самые разнообразные качества, а в этом я ничего не

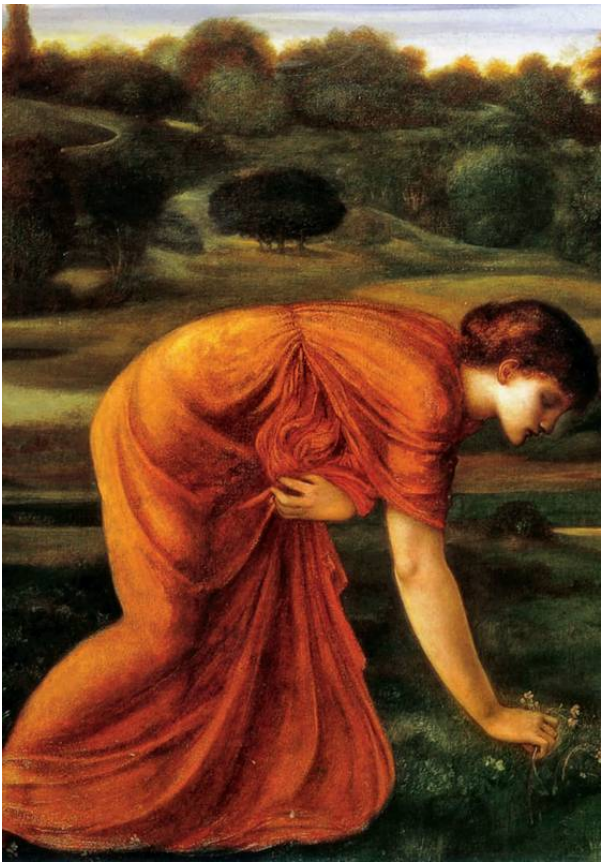
смыслю. Но в том, чтобы их тратить — в этом я кое-что смыслю, как смыслю и в том, чтобы тратить их с толком, а это поистине и есть важнейшее их назначение.

От всякой возни с богатством отдает алчностью; ею отдает даже от его расточения, от чрезмерно упорядоченной и нарочитой щедрости; оно не стоит такого внимания и столь докучной озабоченности.

Бережливость и расточительность сами по себе — ни благо, ни зло; они приобретают окраску либо того, либо другого в зависимости от применения, которое им дает наша воля.



Природа и государство



Природа — приятный наставник, и даже не столько приятный, сколько осторожный и верный.

Природа может все и все творит.

Если чудеса и существуют, то только потому, что мы недостаточно знаем природу, а вовсе не потому, что это ей свойственно.

В природе нет ничего бесполезного.

Когда я играю со своей кошкой, кто знает, не забавляется ли скорее она мною, нежели я ею!

Трудно сказать, кто виноват в том, что люди и животные не понимают друг друга, ибо ведь мы не понимаем их так же, как и они нас. На этом основании они так же вправе считать нас животными, как и мы их.

Природа позаботилась обо всех своих созданиях, и нет из них ни одного, которого бы она не наделила всеми необходимыми средствами самозащиты.

Из нашего тщеславного высокомерия мы предпочитаем приписывать наши способности не щедрости природы, а нашим собственным усилиям… И я считаю это большой глупостью, ибо, на

мой взгляд, качества, присущие мне от рождения, следует ценить ничуть не меньше, чем те, которые я собрал по крохам и выклянчил у обучения.

Жалобы, которые мы постоянно слышим от людей, заключаются в том, что человек будто бы единственная брошенная на произвол судьбы тварь, голый человек на голой земле… могущий защититься и вооружиться лишь чужим оружием — меж тем природа позаботилась снабдить все другие создания когтями, зубами, рогами для нападения и защиты, она сама научила их тому, что им свойственно, — плавать, бегать, летать, петь, между тем как человек без обучения не умеет ни ходить, ни говорить, ни есть, а только плакать.

Жалобы человека необоснованны: мир устроен более справедливо и более единообразно… Наша кожа не менее, чем кожа животных, способна противостоять переменам погоды. Мы вооружены природой лучше, чем большинство других животных; мы располагаем большим числом разнообразных движений наших членов и извлекаем из них большую пользу, притом без всякого обучения.

Животные обладают таким же разумом, что и

мы, действуя одинаковым с нами образом.

Размножение есть главнейшее проявление наше плотской природы, и известные особенности в расположении наших органов делают нас более приспособленными для этого. Однако некоторые утверждают, что лучше бы для нас было бы подражать здесь позе зверей, как более соответствующей преследуемой цели.

Что касается дара речи, то если он не дан природой, без него можно обойтись. Но все же я полагаю, что ребенок, которого вырастили бы в полном одиночестве, без всякого общения с другими людьми, все же имел бы какие-то слова для выражения своих мыслей. Нет оснований думать, что природа отказала бы нам в этой способности, которою она наделила многих других животных, ибо их способность, пользуясь голосом, жаловаться, радоваться, призвать на помощь, склонять к любви разве не есть речь?

Человек не имеет никаких подлинных и существенных преимуществ… Те преимущества, которые он из самомнения произвольно приписывает себе, просто не существуют; и если он один из всех животных наделен свободой воображения и той ненормальностью умственных

способностей, в силу которой он видит и то, что есть, и то, чего нет, и то, что он хочет, истинное и ложное вперемешку, то надо признать, что преимущество это дается ему дорогой ценой, ибо отсюда ведет свое происхождение главный источник угнетающих его зол: пороки, болезни, нерешительность, смятение и отчаяние.

Мы не в силах придумать человеку лучшую похвалу, сказав, что он одарен от бога и от природы.

Животные, как и мы, разборчивы в любви и подобно нам выбирают себе самок; они также не чужды ревности или бурных неутолимых желаний.



Мы осуждаем все, что нам кажется странным и чего мы не понимаем; то же самое относится и к нашим суждениям о животных.

У нас так много искусственных вожделений, порожденных нашим непониманием того, что есть благо, и нашими ложными понятиями, что они оттесняют почти все наши естественные вожделения… Животные гораздо более умеренны, чем мы, и держатся в пределах, поставленных природой.

Что касается войн, которые принято считать самым выдающимся и достославным человеческим деянием, то я хотел бы знать, должны ли они служить доказательством некоего превосходства человека, или наоборот, показателем нашей глупости и несовершенства? Животным поистине не приходится жалеть о том, что им неизвестна эта наука — уничтожать и убивать друг друга и губить свой собственный род.

Мы являемся единственным видом животных, недостатки которого неприятно поражают наших собственных собратьев, мы единственные, которым приходится скрываться при удовлетворении наших естественных потребностей.

Мы ставим себя выше других животных и исключаем себя из их числа не в силу истинного превосходства разума, а из пустого высокомерия и упрямства.

Весь мир — вечные качели… Я не в силах закрепить изображаемый мною предмет. Он бредет наугад и пошатываясь, хмельной от рождения, ибо таким он создан природой. Я беру его таким, каков он передо мной, в то мгновение, когда он занимает меня.

Если бы люди достаточно хорошо отличали невозможное от необычного и то, что противоречит порядку вещей и законам природы, от того, что противоречит общераспространенным мнениям, если б они не были ни безрассудно доверчивыми, ни столь же безрассудно склонными к недоверию!..

Мы настолько обременили красоту и богатство творений природы своими выдумками, что, можно сказать, едва не задушили ее. Но всюду, где она приоткрывается нашему взору в своей чистоте, она с поразительной силой посрамляет все наши тщетные и дерзкие притязания.

Мы называем противоестественным то, что

отклоняется от обычного; однако все, каково бы оно ни было, соответствует природе. Пусть же этот естественный миропорядок устранит растерянность и изумление, порождаемое в нас новшествами.

Законы природы определяют наши истинные потребности.

Самодовольный пошляк тот, кто отвергает радости, дарованные ему природой.

Природа с материнской заботливостью устроила так, чтобы действия, которые она предписала нам для нашей пользы, доставляли нам также и удовольствие, чтобы к ним нас влек не только разум, но и желание; и неправильно было бы искажать ее закон.

Природа наделила нас ногами для хождения, она же с умом руководит нами на жизненном пути. Разум ее не столь искусственный, тяжеловесный и велеречивый, как тот, что изобрели философы, но зато он легок и благодатен и во всем, что обещает разум философа на словах, хорошо помогает на деле тому, кто умеет подчиниться природе бесхитростно и безмятежно, иначе говоря — естественно.

Всякому кажется, что он совершеннейший образец природы, что он — пробный камень и мерило для всех других.

Нужно отнестись с большим почтением к поистине безграничному могуществу природы и яснее осознать нашу собственную невежественность и слабость.

Я от чистого сердца и с благодарностью принимаю то, что сделала для меня природа, радуясь ее дарам и славя их. Неблаговидно по отношению к столь строгому даятелю отказываться от таких даров, уничтожать их или искажать.

Этот огромный мир… и есть то зеркало, в которое нам нужно смотреться, чтобы познать себя до конца.



Умение достойно проявить себя в своей природной сущности есть признак совершенства и качество почти божественное. Мы стремимся быть чем-то иным, не желая вникнуть в свое существо, и выходим за свои естественные границы, не зная, к чему мы по-настоящему способны. Незачем нам вставать на ходули, ибо и на ходулях надо передвигаться с помощью своих ног. И даже на самом высоком из земных престолов мы сидим на своем заду.

Но кто способен представить себе, как на картине, великий образ нашей матери-природы во всем ее царственном великолепии, кто умеет подметить ее бесконечно изменчивые и разнообразные черты, кто ощущает себя как крошечную, едва приметную крапинку в ее необъятном целом, только тот и способен оценивать вещи в соответствии с их действительными размерами.

Мы всегда всё сами себе усложняем, стремясь опережать природу и законы ее заменяя своими правилами.

Для себя лично я принял просто и без обиняков древнее правило: мы никогда не ошибаемся, следуя природе; высшая мудрость в том, чтобы ей повиноваться.

В каждом государстве жажда славы растет вместе со свободой подданных и уменьшается вместе с ней: слава никогда не уживается с рабством.

Народы, воспитанные в свободе и привыкшие сами править собою, считают всякий иной образ правления чем-то противоестественным и чудовищным. Те, которые привыкли к монархии, поступают ничуть не иначе. И какой бы удобный случай к изменению государственного порядка ни предоставила им судьба, они даже тогда, когда с величайшим трудом отделались от какого-нибудь невыносимого государя, торопятся посадить на его место другого, ибо не могут решиться возненавидеть порабощение.

Шум оружия заглушает голос законов.

Лучшее государственное устройство для любого народа — это то, которое сохранило его как целое.

Плоды смуты никогда не достаются тому, кто ее вызвал; он только всколыхнул и замутил воду, а ловить рыбу будут уже другие.

По правде говоря, мне представляется чрезмерным самолюбием и величайшим самомнением ставить свои взгляды до такой степени высоко,

чтобы ради их торжества не останавливаться пред нарушением общественного спокойствия, пред столькими неизбежными действиями и ужасающим падением нравов, которые приносят с собой гражданские войны, пред изменениями в государственном строе, что влечет за собой столь значительные последствия, — да еще делать все это в своей собственной стране.

Те, кто расшатывают государственный строй, чаще всего первыми и гибнут при его крушении.

Кто ниспровергает законы, тот грозит самым добропорядочным людям бичом и веревкой.

Тем, кто нами повелевает и правит, кто держит в руках своих судьбы мира, недостаточно обладать разумением среднего человека, мочь столько же, сколько можем мы; и если они не превосходят нас в достаточной мере, то уже тем самым оказываются гораздо ниже нашего уровня.

Судья, вынесший обвиняемому приговор в припадке гнева, сам заслуживает смертного приговора.

Картина стольких государственных смут и смен в судьбах различных народов учит нас не

слишком гордиться собой.

Почему люди следуют за большинством? Потому ли, что оно право? Нет, потому что оно сильно. Почему люди следуют стародавним законам? Потому что они здравы? Нет, потому что они общеприняты и не дают прорастать семенам раздора.

Мы обязаны повиноваться и покоряться всякому без исключения государю, так как он имеет на это бесспорное право, но уважать и любить мы должны лишь его добродетели.



И кто из чувства личной благодарности за оказанную ему милость превозносит не заслуживающего похвалы государя… тот делает это в ущерб общественной справедливости.

Пусть всякий, кто сможет, остерегается попасть в руки судьи, когда этот судья — победоносный и вооруженный до зубов враг.

Мы стремимся, пользуясь любыми предлогами, выйти из подчинения и присвоить себе право распоряжаться; всякий из нас — и это вполне естественно — домогается свободы и власти; вот почему для вышестоящего не должно быть в подчиненном ничего более ценного, чем простодушное и бесхитростное повиновение.

Обществу нет ни малейшего дела до наших воззрений, но все остальное, как то: нашу деятельность, наши труды, наше состояние и саму жизнь, надлежит предоставить ему на службу, а также на суд… Ибо правило правил и главнейший закон законов заключается в том, что всякий обязан повиноваться законам страны, в которой он живет.

Говоря по правде, у нас нет, по-видимому, другого мерила истинного и разумного, как служащие

нам примерами и образцами мнения и обычаи нашей страны. Тут всегда и самая совершенная религия, и самый совершенный государственный строй, и самые совершенные и цивилизованные обычаи.

Бывает, однако, и так, что судьба, могущество которой превосходит наше предвидение, ставит нас в настолько тяжелое положение, что законам приходится несколько и кое в чем уступить. И если сопротивляясь возрастанию нового, стремящегося насильственно пробить себе путь, держать себя всегда и во всем в узде и строго соблюдать установленные правила, то подобное самоограничение неправильно и опасно.

Те, кто советует своим государям быть недоверчивыми и подозрительными, потому что этого якобы требуют соображения безопасности, советуют им идти навстречу своему позору и гибели.

Нечестные средства, с помощью которых многие возвышаются, ясно говорят о том, что и цели их также не стоят доброго слова.

Первый признак порчи общественных нравов — это исчезновение правды, ибо правдивость лежит в основе всякой добродетели.

Что же касается возможности повелевать, которая представляется столь сладостной, то, принимая во внимание жалкую слабость человеческого разумения и трудность выбора между вещами новыми и сомнительными, я придерживаюсь того мнения, что легче и приятнее следовать за кем-либо, чем предводительствовать, и что великое облегчение для души — придерживаться уже предписанного пути и отвечать лишь за себя.

Блеск величия привносит немалые неудобства… владыки мира слишком освещены отовсюду, слишком на виду. Ибо то, что для нас только слабость, у них, по мнению народа, есть проявление тирании, презрение и пренебрежение к законам: кажется, что, кроме удовлетворения своих порочных склонностей, они еще тешатся тем, что оскорбляют и попирают ногами общественные установления.

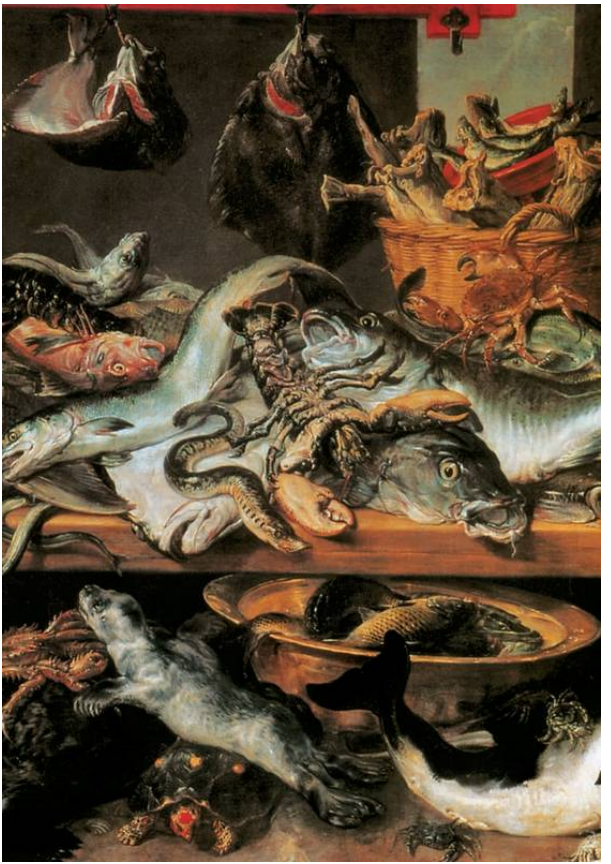
Преимущества царского сана — в значительной степени мнимые: на любой ступени богатства и власти можно ощущать себя царем.

Царское достоинство совершенно лишает государя дружеских связей и живого общения с людьми… Ибо как я могу рассчитывать на выражение искренней приязни и доброй воли от

того, кто — хочет он этого или нет — во всем от меня зависит?

Почести, воздаваемые нам теми, кто нас боится, не почести: уважение в данном случае воздается не мне, а царскому сану.

Государства, где правит монарх, нуждаются в красноречии меньше, чем все другие. Ибо массе свойственны глупость и легкомыслие, из-за которых она позволяет вести себя куда угодно, завороженная сладостными звуками красивых слов и не способная проверить разумом и познать подлинную суть вещей.



Простые умы, мало любознательные и мало развитые, становятся хорошими христианами из почтения и покорности; они бесхитростно веруют и подчиняются законам.

Я сетую не на то, что законы слишком долго не освобождают нас от дел и обязанностей, а на то, что они слишком поздно допускают нас к ним. Мне кажется, что, принимая во внимание бренность нашей жизни и все те естественные и обычные подводные камни, которые она встречает на своем пути, не следовало бы придавать такое большое значение происхождению и уделять столько времени обучению праздности.

Можно умалчивать о тайных делах, но не говорить о том, что всем известно, и о вещах, которые повлекли за собой последствия большой государственной важности, — непростительный недостаток.

Что касается меня, то всякое дополнительное наказание сверх обыкновенной смерти даже по закону есть, по-моему, чистейшая жестокость; это особенно относится к нам, христианам, которые должны заботиться о том, чтобы души отправлялись на тот свет успокоенными, что невозможно, если их измучили и истерзали невыносимыми

пытками.

Простой народ не в силах судить о вещах на основании их самих и легко поддается случайным влияниям и видимости.

В основе того великого разрушения, каким является война, часто лежит прихоть одного человека; войны нередко ведутся из-за какой-нибудь причиненной ему обиды, либо ради его удовлетворения, либо из-за какой-нибудь семейной распри, то есть по причинам, не стоящим выеденного яйца.

Души императора и сапожников скроены на один и тот же манер.

Государи столь же непостоянны в своих желаниях, что и мы, но у них больше возможностей. У слона и у клеща одни и те же побуждения.

Ничто так не подвержено постоянным изменениям, как законы.

Нет такого судебного дела, которое было бы настолько ясно, что не вызывало бы разногласий. Одна судебная инстанция решает дело в одном смысле, другая — в прямо противоположном, а бывает и так, что одна и та же инстанция во вто-

рой раз принимает противоположное решение… Все это сильно подрывает авторитет нашего правосудия и лишает его всякого блеска.

В такой запутанной науке, как юриспруденция, где сталкивается столько авторитетов и столько мнений и где самый предмет исследования столь произволен, разнобой в суждениях совершенно неизбежен.

Законы приобретают тем большую силу, чем они древнее и дольше применяются.

Всеобщее признание — это единственный показатель достоверности, который можно было бы привести в подтверждение неких естественных законов: ибо мы, несомненно, все беспрекословно следовали бы тому, что действительно было бы установлено природой. И не только целый народ, но и каждый человек воспринял бы как насилие или принуждение, если бы кто-нибудь захотел толкнуть его на действия, противоречащие этому закону. Но пусть мне покажут воочию какой-нибудь закон, удовлетворяющий этому условию.

По мнению одного древнего философа, смертные казни скорее обостряют пороки, чем пресекают их… Не знаю, справедливо ли это суждение,

но по личному опыту знаю, что меры подобного рода никогда не улучшают положение дел в государстве: порядок и чистота нравов достигаются совершенно иными средствами.

Поскольку люди в силу несовершенства своей природы не могут довольствоваться доброкачественной монетой, пусть между ними обращается и фальшивая. Это средство применялось решительно всеми законодателями, и нет ни одного государственного устройства, свободного от примеси какой-нибудь напыщенности или лжи, необходимых, чтобы налагать узду на народ и держать его в подчинении.



Не было еще такой страны и такого века, когда бы властители могли рассчитывать на столь несомненную и столь глубокую признательность в оплату за их милости и их справедливость. Первый из них, кто догадается искать народной любви и славы на этом пути, тот намного опередит своих державных товарищей.

Современные адвокаты и судьи во всех спорных случаях находят достаточно уверток, чтобы решить дело, как им заблагорассудится.

Пусть же государь возблистает своей человечностью, правдивостью, прямотой, умеренностью и прежде всего справедливостью — достоинствами в наши дни редкими, неведомыми, гонимыми. Лишь добрые чувства народов могут доставить ему возможность свершать значительные деяния, и никакие другие качества не в состоянии снискать ему эти добрые чувства, ибо именно эти качества наиболее полезны для подданных.

Показав образец своего вероломства, монарх сразу нарушает добрые отношения с другими монархами и теряет возможность вступать с ними в какие бы то ни было соглашения.

В делах общественных нет ни одного столь

дурного обыкновения, которое не было бы лучше, нежели перемены и новшества.

Наши нравы до крайности испорчены, и они поразительным образом клонятся к дальнейшему ухудшению; среди наших обычаев и законов много варварских и просто чудовищных; и тем не менее, учитывая трудности, сопряженные с приведением нас в лучшее состояние, и опасности, связанные с подобными потрясениями, — если бы я только мог задержать колесо нашей жизни и остановить его на той точке, где мы сейчас находимся, я бы сделал это очень охотно.

Чрезвычайно легко порицать пороки любого государственного устройства, ибо все, что бренно, кишмя кишит ими; чрезвычайно легко зародить в народе презрение к старым нравам и правилам, и всякий, кто поставит перед собой эту цель, неизменно будет иметь успех; но установить вместо старого уничтоженного государственного устройства новое, и притом лучшее, — на этом многие из числа предпринимавших такие попытки не раз обламывали зубы.

Но кому в наше развращенное время можем мы верить, когда он говорит о себе, если вспомнить, что мало найдется таких людей, которым можно

верить, даже когда они говорят о других, хотя в этом случае ложь куда менее выгодна?

Ни один кормчий не выполняет своих обязанностей, сидя на берегу.

С одной стороны, можно сказать, что снять с партий узду и предоставить им беспрепятственно придерживаться их взглядов — значит сеять и распространять между ними распри, значит способствовать умножению этих распрей, поскольку нет больших преград в виде законов, способных обуздывать и останавливать их. Но с другой стороны — означает вместе с тем и усыпление и расслабление их из-за легкости и удобства, с какими они отныне смогут домогаться своего, означает притупление острия их воли, которая оттачивается в борьбе за что-либо необычное и труднодостижимое.

Человек во всем и везде — ворох пестрых лоскутьев. И даже законы, блюстители справедливости, не могли бы существовать, если б к ним не примешивалась несправедливость. Платон замечает, что кто притязает очистить их от непоследовательностей и неудобств, тот пытается отрубить голову гидре.

Кто пристально разглядывает и старается охватить все до одного обстоятельства и все следствия, тот сам себе затрудняет выбор: обычная смекалка с таким же успехом делает свое дело и достаточна для разрешения как малых, так и больших вопросов. Оглянитесь вокруг себя, и вы увидите, что лучшие хозяева — это те, кто меньше всего мог бы ответить, каким образом они добиваются успеха, и что велеречивые говоруны чаще всего не достигают ничего путного.



Болезни и различные состояния, которым подвержено наше тело, наблюдаются также у государств и их общественного устройства: монархии и республики рождаются, переживают пору расцвета и увядают от старости совсем так же, как мы.

Война внешняя — меньшее зло, чем война внутренняя, но я не думаю, чтобы бог благоприятствовал бы столь несправедливому делу — оскорблять и задирать войной другого ради нашей собственной выгоды.

Тираны, стремясь чинить две жестокости одновременно — убивать и вымещать свой гнев, — прилагают все усилия к тому, чтобы по возможности продлить казнь. Они жаждут гибели своих врагов, но не хотят их скорой смерти; им нужно не упустить возможности насладиться местью.

Все, что выходит за пределы обычной смерти, я считаю неоправданной жестокостью; наше правосудие не может рассчитывать на то, что тот, кого не удерживает от преступления страх смерти — боязнь быть повешенным или обезглавленным, — не совершит его из страха перед смертью на медленном огне или посредством

колесования.

Если общее благо требует, чтобы во имя его шли на предательство, ложь и беспощадное истребление, — предоставим же эту долю людям более послушным и более гибким.

Не всегда те казни, которые выглядят самыми страшными, являются самыми мучительными.

Вождь целой страны никогда не должен ставить себя в безвыходное положение, разве что в крайнем случае, когда речь идет о его последней крепости и о единственной оставшейся надежде.

Невозможно творить великие дела, придерживаясь обычных рамок справедливости.

Наше устройство — и общественное и личное — полно несовершенств. Но ничто в природе не бесполезно, даже сама бесполезность. И нет во вселенной вещи, которая не занимала бы подобающего ей места.

Во всяком государстве существуют необходимые ему должности, не только презренные, но и порочные; порокам в нем отводится свое место, и их используют для придания прочности нашему объединению, как используют яды, чтобы сохра-

нить наше здоровье.

Путь истины — единственный, и он прост; путь заботящихся о своей выгоде и делах, которые находятся на их попечении, — раздвоен, неровен, случаен.

Что касается наших государей, то я почитаю их лишь как подданный и гражданин, и мое чувство к ним свободно от всякой корысти.

За партией, отстаивающей правое дело, я пойду хоть в огонь.

Колебаться и пребывать в нерешимости, сохранять полнейшую безучастность к смутам и междоусобицам в твоем отечестве — это я не нахожу ни похвальным, ни честным.

Я вижу, что всякий досадует, если от него утаивают самую сущность дела, которое ему поручено, и скрывают какую-нибудь заднюю мысль.

Воля и желания создают себе собственные законы, но наши поступки должны подчиняться общественным установлениям.

Даже сама невинность не сумела бы, живя среди нас, обойтись без притворства и вести дела, не прибегая ко лжи.

Если крайние обстоятельства или какое-нибудь чрезвычайное событие, угрожающее существованию государства, заставляют государя изменить своему слову и обещаниям или как-нибудь по иному нарушить свой долг, он должен рассматривать подобную необходимость как удар бича божьего; порока тут нет, ибо он отступается от своих принципов ради общеобязательного и высшего принципа, но это, конечно, несчастье, и очень большое несчастье.



Никакая личная выгода не оправдывает насилия, совершаемого нами над нашей совестью; общественная — дело другое, но и то лишь тогда, когда она вполне очевидна и очень существенна.

Кто недостаточно верен себе самому, тому простительно не соблюдать верности своему господину.

И моя речь, и моя честность, и все остальное во мне составляют единое целое; их высшее стремление — служить обществу, и я считаю это непреложным законом.

Гражданские войны преподносят нам на каждом шагу отвратительные примеры коварства, ибо мы наказываем ни в чем не повинных людей только за то, что они верили нам, когда мы сами были иными.

Не будем опасаться отстаивать мысль, что есть кое-какие вещи, непозволительные даже в отношении наших врагов, и что общественные интересы отнюдь не должны требовать всего от всех в ущерб интересам частным.

Не всё может позволить себе порядочный человек, служа своему государю, или общему благу,

или законам.

Служа государям, мало быть по-настоящему скрытным, надо быть еще и лжецом.

Стремление монархов возвеличиться в глазах окружающих, постоянно приковывать к себе внимание непомерными тратами есть род малодушия и свидетельствует о том, что эти государи не ощущают по-настоящему, что именно они собой представляют.

Чаще всего случается, что народ прав и что его глаза насыщают тем, чем ему полагалось бы насыщать свое брюхо.

Щедрость в руках королей — не такое уж блестящее качество; частные лица имеют на нее больше права, ибо, в сущности, у короля нет ничего своего, он сам принадлежит своим подданным.

Судье вручается судебная власть не ради его блага, а ради блага того, кто ему подсуден. Высшего назначают не ради его выгоды, а ради выгоды низшего; врач нужен больному, а не себе.

Цели, преследуемые как всякою властью, так равно и всяким искусством, пребывают не в них,

а вне их.

Из всех добродетелей королям, по-моему, всего нужнее справедливость; а из всех частных ее проявлений — справедливость в пожаловании щедрот.

Подданные государя, не знающего меры в щедротах, теряют меру в своих требованиях к нему; они руководствуются не разумом, а примером.

Чем более тощей делается мошна государева из-за его щедрых раздач, тем беднее он становится по части друзей.

Самое, на мой взгляд, тягостное и трудное на свете дело — это достойно царствовать. Ошибки, совершаемые королями, я сужу более снисходительно, чем это вообще принято, ибо со страхом думаю о тяжком бремени, лежащем на властителях.

Жалостная участь — обладать такой властью, что перед ней всё склоняется.

Мне ненавистна всякая тирания — и в речах, и в поступках.

Тот, кто сумел бы найти способ всегда судить о людях по их достоинству и выбирать их согласно

доводам разума, уже одним этим установил бы самую совершенную форму государственности.

Я держусь того мнения, что наиболее достойная деятельность — это служить обществу и приносить пользу многим.

Мы лишаем себя определенных удобств, лишь бы не провиниться перед общественным мнением, нас не столько заботит, какова наша настоящая сущность… сколько то, какова эта сущность в глазах окружающих.



Нужда обтесывает людей и сгоняет их вместе. Эта случайно собравшаяся орда в дальнейшем сплачивается законами.

Не только предположительно, но и на деле лучшее государственное устройство для любого народа — это то, которое сохранило его как целое. Особенности и основные достоинства этого государственного устройства зависят от породивших его обычаев.

Мы всегда с большей охотой сетуем на условия, в которых живем. И все же я держусь того мнения, что жаждать власти немногих в государстве, где правит народ, или стремиться в монархическом государстве к иному виду правления — это преступление и безумие.

Ничто не порождает в государстве такой неразберихи, как вводимые новшества.

Мир не умеет лечить сам себя; он настолько нетерпелив ко всему, что его мучает, что помышляет только о том, как бы поскорее отделаться от недуга, не считаясь с ценой, которую необходимо за это платить.

Все крупные перемены расшатывают государство и вносят в него сумятицу.

Если давать — удел властвующего и гордого, то принимать — удел подчиненного.

Государственное устройство, как утверждает Платон, — это нечто чрезвычайно могущественное и с трудом поддающееся распаду. Нередко оно продолжает существовать, несмотря на смертельные, подтачивающие его изнутри недуги, несмотря на несообразность несправедливых законов, несмотря на тиранию, несмотря на развращенность и невежество должностных лиц, разнузданность и мятежность народа.

По-моему, нужно, чтобы мы жили под защитою права и власти, а не благодаря чьей-то признательности или милости.

Государи с избытком одаряют меня, если не отнимают моего, и благоволят ко мне, когда не причиняют мне зла; вот и всё, что я от них хочу.

Тяжело и чревато всевозможными неожиданностями зависеть от чужой воли.

Я с большой охотой служу своему государю из-за того, что делаю это по собственному избранию и убеждению моего разума.

Законы обрекают нас на невозможность

выполнять их веления, и они же судят нас за невыполнение этих велений.

Кто в некоторой мере не живет для других, тот совершенно не живет для себя.

Добродетель, потребная для руководства мирскими делами, есть добродетель с выпуклостями, выемками и изгибами, чтобы ее можно было прикладывать и пригонять к человеческим слабостям.

Гражданская безупречность определяется в зависимости от места и времени.

Можно сожалеть о других временах, но нельзя уйти от своего времени; можно мечтать о других правителях, но повиноваться, несмотря ни на что, приходится существующим.

Всякая деятельность на общественном поприще подвергается крайне противоречивому и произвольному истолкованию, потому что о ней судит слишком много голов.

Определять и знать — дело правящего и господствующего; низшим, подчиненным, научающимся дано лишь принимать и пользоваться.

В общественных недугах поначалу еще можно

разобрать, кто здоров, кто болен; но когда болезнь затягивается, как это произошло у нас, то она охватывает все тело, с головы до пят: ни один орган не остается незатронутым.

Худшее обличье принимают вещи тогда, когда зло объявляется законным и с согласия власть имущих облекается в мантию добродетели.



Наши всегда различные и переменчивые действия не имеют почти никакого отношения к твердо установленным и застывшим законам… Да и то я считаю, что лучше обходиться совсем без законов, чем иметь их в таком изобилии, как мы.

Природа всегда рождает законы гораздо более справедливые, чем те, которые придумываем мы.

Почему наш язык, которым мы говорим в обыденной жизни, столь удобный во всех других случаях, становится темным и непонятным в договорах и завещаниях, и почему человек, умеющий ясно выражаться, не находит в юридических документах такого способа изложить свои мысли, который не приводил бы к сомнениям и противоречиям?

Чем больше тонкостей в языке юриспруденции, тем больше сомнений порождают они в умах людей.

От множества толкований истина как бы раздробляется и рассеивается.

В нашем праве обнаруживается так много несправедливости, и в смысле мягкости, и в

смысле строгости, что я, право, не знаю, часто ли можно найти правильный средний путь между ними.

Наше правосудие протягивает человеку лишь одну руку, да и то левую. Кем бы ты ни был, без ущерба не обойдешься.

Законы пользуются всеобщим уважением не в силу того, что они справедливы, а лишь потому, что они являются законами. Таково мистическое обоснование их власти, и иного у них нет.

Ничто на свете не несет на себе такого тяжелого груза ошибок, как законы.

Даже истине не дано преимущество быть высказываемой в любое время и при любых обстоятельствах: как ни благородно быть ее глашатаем, и это дело требует определенных условий, определенных рамок. Мир так устроен, что нередко ее доводят до слуха властителей не только без всякой пользы, но даже с дурными последствиями и к тому же неоправданно.

Из всех людей именно облеченные властью более всего нуждаются в правдивом и свободном слове.

Надо не сочинять умные книги, а разумно вести себя в повседневности; надо не выигрывать битвы и завоевывать земли, а наводить порядок и устанавливать мир в обычных жизненных обстоятельствах. Лучшее наше творение — жить согласно разуму. Все прочее — царствовать, накоплять богатство, строить — всё это, самое большее, дополнения и довески.

…**В**озникает два рода законов, противоречащих во многом друг другу: законы чести и те, на которых покоится правосудие.

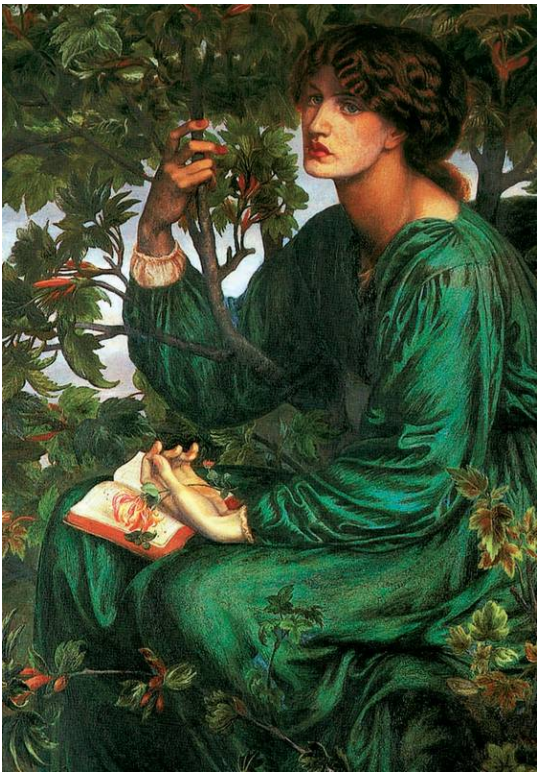
Христианская религия обладает всеми признаками наиболее справедливого и полезного вероучения, но ничто не свидетельствует об этом в такой мере, как выраженное в ней с полной определенностью требование повиноваться властям и поддерживать существующий государственный строй.

Только те законы заслуживают истинного почитания, которым Бог обеспечил существование настолько длительное, что никто уже того не знает, когда они возникли и были ли до них какие-нибудь другие.

Насмешкой и оскорблением является стремле-

ние прославить человека за те качества, которые не подобают его положению, хотя бы сами они были достойны похвалы, а также за те, которые для него не наиболее существенны, как если бы, например, прославляли какого-нибудь государя за то, что он хороший живописец или хороший зодчий… или быстро бегает наперегонки. Подобные похвалы приносят честь лишь в том случае, если они присоединяются к другим, прославляющим качества, важные в государе, а именно — его справедливость и искусство управлять народами в дни мира и во время войны.

Примешивать Бога к делам нашим допустимо лишь с должным благоговением и осторожностью, проникнутой почитанием и уважением.



Жизнь и смерть



Счастье человеческое состоит вовсе не в том, чтобы хорошо умереть, а в том, чтобы хорошо жить.

Подобно тому как наше рождение принесло для нас рождение всего окружающего, так и смерть наша будет смертью всего окружающего. Поэтому столь же нелепо оплакивать то, что через сто лет нас не будет в живых, как и то, что мы не жили за сто лет перед этим. Смерть одного есть начало жизни другого.

Мера жизни не в ее длительности, а в том, как вы ее использовали.

Жизнь сама по себе — ни благо, ни зло: она вместилище и блага и зла, смотря по тому, во что вы сами превратили ее. И если вы прожили один-единственный день, вы видели уже все.

Хороши или плохи события жизни, во многом зависит от того, как мы их воспринимаем.

Подлинным зеркалом нашего образа мыслей является наша жизнь.

…**Н**ет столь дряхлого старца, который, памятуя о Мафусаиле, не рассчитывал бы прожить еще годиков двадцать.

Ни то, что предшествует смерти, ни то, что за ней следует, не является ее принадлежностью.

Не беспокойтесь, что не сумеете умереть: сама природа, когда придет срок, достаточно основательно научит вас этому; она сама все за вас сделает, не занимайте этим своих мыслей…

Смерть должна быть такая же, как и жизнь; мы не становимся другими только потому, что умираем.

Старикам не стоит думать о смерти: пусть лучше позаботятся о том, как получше разрыхлить грядки на огороде.

Я хотел бы, чтобы смерть застала меня за работой в поле.

Надо уметь переносить то, чего нельзя избежать.

Когда мы говорим, что страшимся смерти, то думаем прежде всего о боли, ее обычной предшественнице.

Будем остерегаться, чтобы старость не наложила больше морщин на нашу душу, чем на наше лицо.

Что касается смерти, то ощущать ее мы не можем; мы постигаем ее только рассудком, ибо от жизни она отделена не более чем мгновением.

Опасное дело — нападать на человека, у которого осталось только одно средство спасения — оружие, ибо необходимость — жестокая наставница.

Все бедствия не стоят того, чтобы, желая избежать их, стремиться к смерти.

Лишь тем подобает умирать без горечи, кто умеет наслаждаться жизнью, а это можно делать более и менее осмотрительно.

Мы ко всему подходим с собственной меркой, и из-за этого наша смерть представляется нам событием большой важности.

Чем большую цену мы себе придаем, тем более значительной кажется нам наша смерть.

Мы не в силах придумать человеку лучшую похвалу, чем сказав, что он одарен от природы.

Если бы человек хотел быть только счастливым, то это было бы легко, но всякий хочет быть счастливее других, а это почти всегда очень трудно, ибо мы обыкновенно считаем других

счастливее, чем они есть на самом деле.

То, что гадалка видит у человека на ладони, обычно написано у него на лице.

Наихудшее состояние человека — это когда он перестает сознавать себя и владеть собой.

Достоен похвалы скорее не сам человек, а его дела.



Обвинениям в адрес самого себя всегда верят, самовосхвалению — никогда.

Кого бы ни взялся изображать человек, он всегда играет вместе с тем и себя самого.

Пусть детство смотрит вперед, старость — назад: не это ли обозначали два лица Януса?

Будущее еще менее в нашей власти, даже чем прошлое.

Несчастна душа, исполненная забот о будущем.

Людям свойственно не только простирать заботы о себе за пределы своего земного существования, но, сверх того, так же верить, что милости неба довольно часто следуют за нами в могилу и изливаются даже на наши останки.

Тысячи путей уводят от цели, и лишь один-единственный ведет к ней.

Каждому живется хорошо или плохо в зависимости от того, что он сам по этому поводу думает.

Таковы люди. Законам и заповедям предоставляется жить своей жизнью, мы же живем своею;

и не только вследствие развращенности нравов, но зачастую и потому, что придерживаемся других взглядов и смотрим на жизнь иными глазами.

Жизнь — движение телесное и вещественное, всякая деятельность несовершенна и беспорядочна по самой своей сущности; и я стремлюсь служить жизни в соответствии с ее требованиями… Я часто вижу, как нам предлагают такие образцы жизни, следовать которым не имеют ни малейшей надежды — и, что еще хуже, охоты, — ни тот, кто их предлагает, ни его слушатели.

Было бы желательно установить более разумное соотношение между требуемым и выполнимым; ведь цель, достигнуть которой невозможно, и поставлена, очевидно, неправильно.

Судьба не приносит нам ни добра, ни зла, она поставляет лишь сырую материю для того и другого.

Всякий, кто долго мучается, виноват в этом сам.

Кому недостает мужества как для того, чтобы вытерпеть смерть, так и для того, чтобы вытерпеть жизнь, кто не хочет ни бежать, ни

сражаться, — чем поможешь такому?

Как бы приветливо ни улыбалось кому-либо счастье, мы не должны называть такого человека счастливым, пока не минет последний день его жизни, ибо шаткость и изменчивость судеб человеческих таковы, что достаточно какого-нибудь ничтожнейшего толчка — и все тут же меняется.

Можно подумать также, что судьба намеренно подстерегает порою последний день нашей жизни, чтобы явить перед нами всю свою мощь и в мгновение ока низвергнуть все то, что воздвигалось ею самою годами.

Смерти предоставляю я оценить плоды моей деятельности, и тогда станет ясно, исходили ли мои речи только из уст или также из сердца… Это последнее испытание — окончательная проверка и пробный камень всего того, что совершено нами в жизни.

Вся мудрость и все рассуждения в нашем мире сводятся в конечном итоге к тому, чтобы научить нас не бояться смерти.

Презрение к смерти придает нашей жизни спокойствие и безмятежность, оно позволяет вкушать ее чистые и мирные радости, когда же этого

нет — отравлены и все прочие наслаждения.

Конечная точка нашего жизненного пути — это смерть, предел наших стремлений, и если она вселяет в нас ужас, то можно ли сделать хотя бы один-единственный шаг, не дрожа при этом как в лихорадке?

Ваше бытие, которым вы наслаждаетесь, одной своей половиной принадлежит жизни, другой — смерти. В день своего рождения вы в такой же мере начинаете жить, как умирать.



Если бы смерть была подобна врагу, от которого можно убежать, я посоветовал бы воспользоваться этим оружием трусов. Но так как от нее ускользнуть невозможно, ибо она одинаково настигает беглеца, будь он плут или честный человек, и так как даже наилучшая броня от нее не обережет, давайте научимся встречать ее грудью и вступать с ней в единоборство.

Размышлять о смерти — значит размышлять о свободе. Кто научился умирать, тот разучился быть рабом. Готовность умереть избавляет нас от всякого подчинения и принуждения. И нет в жизни зла для того, кто постиг, что потерять жизнь — не зло.

Я хочу, чтобы люди действовали, чтобы они как можно лучше выполняли налагаемые на них жизнью обязанности, чтобы смерть застигла меня за посадкой капусты, но я желаю сохранить полное равнодушие и к ней, и тем более к моему до конца не возделанному огороду.

Размышлять о смерти наперед — это, без сомнения, вещь полезная.

Не может быть тягостным то, что происходит один-единственный раз. Имеет ли смысл

трепетать столь долгое время перед столь быстротечной вещью? Долго ли жить, мало ли жить, не все ли равно, раз и то и другое кончается смертью? Ибо для того, что больше не существует, нет ни долгого, ни короткого.

Непрерывное занятие всей вашей жизни — это взращивать смерть. Пребывая в жизни, вы пребываете в смерти, ибо смерть отстанет от вас не раньше, чем вы покинете жизнь.

Если вы познали радости жизни, вы успели насытиться ими; так уходите с удовлетворением в сердце. Если же вы не сумели ею воспользоваться, если она поскупилась для вас, что вам до того, что вы потеряли ее, на что она вам?

Никто не раздает всех своих денег другим, а вот свое время и свою жизнь раздает каждый; и нет ничего, в чем мы были бы настолько же расточительны и в чем скупость была бы полезнее и похвальнее.

Освободите место другим, как другие освободили его для вас. Равенство есть первый шаг к справедливости. Кто может жаловаться, что он обречен, если другие тоже обречены?

Страху смерти подобает быть ничтожнее, чем

ничто, если существует что-нибудь ничтожнее, чем это последнее. Что вам до нее — и когда вы умерли, и когда живы? Когда живы — потому что вы существуете, когда умерли — потому, что вас больше не существует.

Никто не умирает прежде своего часа. То время, что останется после вас, не более ваше, чем то, что протекло до вашего рождения.

Все дни твоей жизни ведут тебя к смерти, последний только подводит к ней.

Наперекор всем нашим планам, решениям и предосторожностям судьба всегда удерживает в своих руках власть над событиями.

Когда в жизни человека больше зла, нежели блага, значит, настал ему час умереть… сохранять нашу жизнь для мук и терзаний — значит нарушать самые законы природы.

Мы пожили достаточно для других, проживем же для себя хотя бы остаток жизни. Когда Господь дает нам возможность подготовиться к нашему переселению, используем ее с толком; уложим пожитки; простимся заблаговременно с окружающими; отделаемся от стеснительных уз, которые связывают нас с внешним миром и отда-

ляют от самих себя. Нужно разорвать эти… связи. Можно еще любить то или другое, но не связывая себя до конца с чем-либо, кроме самого себя.

Здравыми представляются мне соображения тех, кто ищет уединения из благочестия, поддерживая в себе мужество верой в будущую жизнь, которая принесет им осуществление обещанного нам Богом… И болезни и страдания приносят им пользу, ибо через них они добывают себе вечное здоровье и вечное наслаждение, и даже смерть представляется им желанною, ибо она — переход к этому совершенному состоянию.



События и исход их, особенно на войне, большей частью зависят от судьбы, которая вовсе не намерена считаться с нашими соображениями и подчиняться нашей мудрости… В сущности, сами наши мнения и суждения, точно так же… зависят от судьбы, и она придает им столь свойственные ей смутность и неуверенность.

Какое тщетное мечтание — надеяться на смерть от истощения сил вследствие глубокой старости и считать, что этим определяется продолжительность нашей жизни. Ведь этот род смерти наиболее редкий и наименее обычный из всех.

Нужно вцепиться и зубами, и когтями в те удовольствия жизни, которые годы вырывают у нас одно за другим.

Тот, кто не поставил себе в жизни определенной цели, не может наметить себе и отдельных действий.

Следует пользоваться случайными и не зависящими от нас удобствами, которые дарует нам жизнь, раз они доставляют нам удовольствие, но не следует смотреть на них как на главное в нашем существовании… К чему вопреки законам природы ставить удовлетворенность или неудо-

влетворенность нашей души в зависимость от вещей, зависящих не от нас? Предвосхищать возможные удары судьбы, лишать себя тех удобств, которыми мы можем располагать, — это чрезмерное проявление добродетели.

Нет попутного ветра для того, кто не знает, в какую гавань он хочет приплыть.

Мудрец живет столько лет, сколько ему нужно, а не столько, сколько он может прожить; и лучший дар, который мы получили от природы и который лишает нас всякого права жаловаться на наше положение, — это возможность сбежать. Природа назначила нам лишь один путь появления на свет, но указала тысячи способов, как уйти из жизни.

Смерть — не только избавление от болезней, она — избавление от всех зол. Это надежнейшая гавань, которой никогда не надо бояться и к которой часто следует стремиться.

Самая добровольная смерть наиболее прекрасна. Жизнь зависит от чужой воли, смерть же — только от нашей. В этом случае больше, чем в каком-либо другом, мы должны сообразовываться только с нашими чувствами. Мнение других в

этом деле не имеет никакого значения.

Жизнь превращается в рабство, если мы не вольны умереть.

Только неблагоразумие и нетерпение побуждают нас ускорять приход смерти. Никакие злоключения не могут заставить подлинную добродетель повернуться к жизни спиной; даже в горе и страдании она ищет своей пищи.

Обычно мы расплачиваемся за выздоровление частицами самой жизни: нам что-то вырезают или прижигают, или ампутируют, или ограничивают питание, или лишают части крови; еще один шаг — и мы можем исцелиться окончательно от всего… Ставя нас в такое положение, когда жизнь становится хуже смерти, Бог дает нам при этом достаточно воли.

Поддаваться страданиям значит выказывать слабость, но давать им пищу — безумие.

Многие полагают, что мы не в праве покидать крепость этого мира без явного веления того, кто поместил нас в ней.

Спрятаться в яме под плотной крышкой гроба, чтобы избежать ударов судьбы, — таков удел

трусости, а не добродетели.

Нередко стремление избежать других бедствий толкает нас к смерти; иногда же опасение смерти приводит к тому, что мы сами бежим ей навстречу, подобно тем, кто из страха перед пропастью сами бросаются в нее.

Презрение к жизни — нелепое чувство, ибо в конечном счете она — все, что у нас есть, она — все наше бытие.

По-моему, невыносимые боли и опасения худшей смерти являются вполне оправданными побуждениями к самоубийству.



В судьбе человеческой бывает иной раз столько внезапных перемен, что трудно судить, в какой мере мы правы, полагая, будто не остается больше никакой надежды.

Жить — вот мое занятие и мое искусство.

Неумение остановиться и ощутить ту разительную перемену, которая с возрастом естественно происходит в нашем теле и в нашей душе, погубило славу множества великих людей. Я… близко знавал весьма выдающихся людей, у которых на моих глазах поразительным образом угасали былые качества, по слухам, отличавшие их в их лучшие годы. Я предпочел бы, чтобы они, ради собственной чести, удалились на покой и отказались от тех государственных и военных постов, которые стали им не по плечу.

Старость связана с множеством слабостей, она так беспомощна, что это легко может вызвать презрение; поэтому наилучшее приобретение, какое она может сделать, это любовь и привязанность близких.

Завещание — вещь слишком серьезная и имеющая слишком важные последствия, чтобы можно было позволить себе непрерывно менять его; вот

почему люди умные составляют его раз и навсегда, сообразуясь с доводами разума и принятыми в стране установлениями.

Всякая смерть должна соответствовать жизни человека. Умирая, мы остаемся такими же, как были в жизни. Я всегда нахожу объяснение смерти данного человека в его жизни. И когда мне рассказывают о стойком по видимости конце человека, проведшего вялую жизнь, я считаю, что он был вызван какой-либо незначительной причиной, соответствующей жизни этого человека.

Если бы мы относились к великим обещаниям вечного блаженства с таким же уважением, как к философским рассуждениям, то мы не испытывали бы такого страха перед смертью, который владеет нами.

Признаем чистосердечно, что бессмертие обещают нам только бог и религия; ни природа, ни наш разум не говорят нам об этом.

Мы ко всему подходим с собственной меркой, и из-за этого наша смерть представляется нам событием большой важности… Всякий из нас считает себя в той или иной мере чем-то единственным.

Один мыслитель говорит, что наслаждение

жизнью не может доставить нам истинной радости, если мы страшимся расстаться с нею. Мне кажется, что следовало бы сказать совершенно обратное, а именно: мы держимся за это благо с тем большей цепкостью и ценим его тем выше, чем мы неувереннее в нем и чем сильнее страшимся лишиться его.

Людям страшно сводить знакомство со смертью. Кто боится иметь дело с нею, кто не в силах смотреть ей прямо в глаза, тот не вправе сказать себе, что он приготовился к смерти, что же до тех, которые, как это порою случается при совершении казней, сами стремятся навстречу своему концу, торопят и подталкивают палача, то они делают это не от решимости; они хотят сократить для себя срок пребывания с глазу на глаз со смертью. Им не страшно умереть, им страшно умирать.

Жажда умереть с пользой и мужественно весьма благородна, но утолить ее зависит не столько от наших благих решений, сколько от благости нашей судьбы. Тысячи людей ставили себе целью или победить или пасть в сражении, но им не удавалось достигнуть ни того ни другого.

Высшее проявление мужества перед лицом

смерти, и самое к тому же естественное, — это смотреть на нее не только без страха, но и без тревоги, продолжая даже в цепких ее объятиях твердо придерживаться обычного образа жизни.

В конце концов, единственное облегчение, даваемое мне старостью, состоит в том, что она убивает во мне многие желания и стремления, которыми полна жизнь: заботу о делах этого мира, о накоплении богатств, о величии, о расширении познаний, о здоровье, о себе.



Бывает, что человек начинает обучаться красноречию, когда ему впору учиться, как сомкнуть свои уста навеки.

Вся моральная философия может быть с таким же успехом приложена к жизни повседневной и простой, как и к жизни более содержательной и богатой событиями: у каждого человека есть все, что свойственно всему роду людскому.

Великолепна та жизнь, которая даже в наиболее частных своих проявлениях всегда и во всем безупречна.

Если бы мне довелось прожить еще одну жизнь, я жил бы так же, как прожил; я не жалею о прошлом и не страшусь будущего.

Мы зовем мудростью беспорядочный ворох наших причуд, наше недовольство существующими порядками. Но в действительности с возрастом мы не столько освобождаемся от наших пороков, сколько их меняем на другие — и, как я думаю, худшие.

Кроме глупой и жалкой спеси, нудной болтливости, несносных и непостижимых причуд, суеверий, смехотворной жажды богатств, когда пользоваться ими уже невозможно, я замечаю

у стариков также зависть, несправедливость и коварную злобу.

В старости, как мне кажется, наши души подвержены недугам и несовершенствам более докучным, чем в молодости.

Старость налагает морщины не только на наши лица, но в еще большей мере на наши умы, и что-то не видно душ — или они встречаются крайне редко, — которые, старясь, не отдавали бы плесенью и кислятиной.

Все в человеке идет вместе с ним в гору и под гору.

Старость — могущественная болезнь, настигающая естественно и незаметно. Нужно обладать большим запасом знаний и большой предусмотрительностью, чтобы избегнуть изъянов, которыми она награждает, или, по крайней мере, чтобы замедлить их развитие.

Всякий избегает присутствовать при рождении человека, и всякий торопится посмотреть на его смерть. Чтобы уничтожить его, ищут просторное поле и дневной свет; чтобы создать его — таятся в темных и тесных углах. Почитается долгом прятаться и краснеть, чтобы создать его, и почи-

тается славой — умение разделаться с ним. Одно приносит позор, другое — честь, и получается совсем как в том выражении, которое, как говорил Аристотель, существовало в его стране и согласно которому оказать кому-нибудь благодеяние означало убить его.

Нет у меня иной цели, как жить и радоваться.

Природе надлежало бы ограничиться тем, что она сделала пожилой возраст достаточно горестным, и не делать его к тому же еще и смешным.

Большое недомыслие — продлевать и упреждать человеческие невзгоды, как поступают некоторые; уж лучше я буду менее продолжительное время стариком, чем стану им до того, как меня в действительности постигнет старость.

Наша жизнь складывается частью из безрассудных, частью из благоразумных поступков. Кто пишет о ней почтительно и по всем правилам, тот умалчивает о большей ее половине.

Откровенное уродство, по-моему, не так уродливо, и откровенная старость не так стара, как они же нарумяненные и молодящиеся.

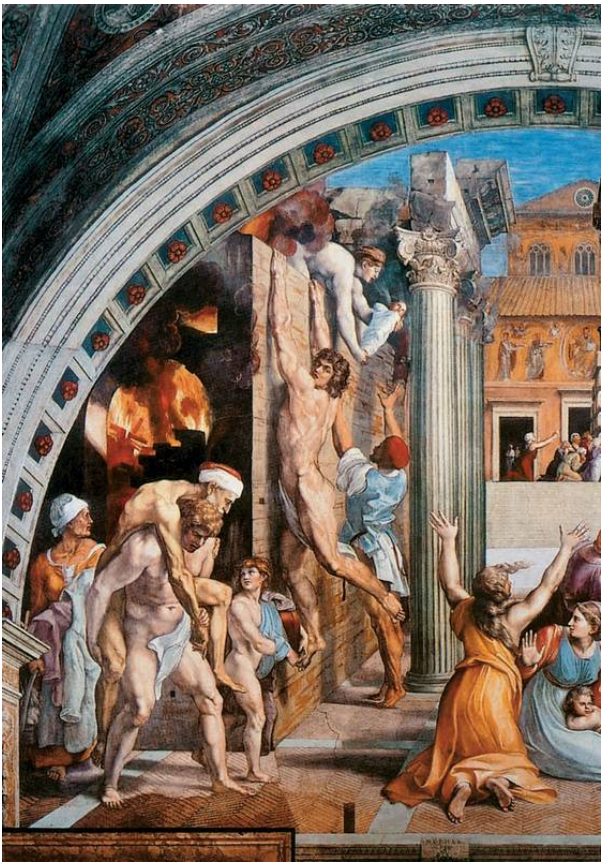
Жизнь — хрупкая штука, и нарушить ее покой

— дело нетрудное.

Если бы мы шли прямым путем к совершенству, старость была бы лучшей порой человеческой жизни.

Говорят, что если не всякая долгая жизнь — хорошая жизнь, то всякая быстрая смерть — хорошая смерть.

Несправедливо прощать молодости ее погоню за наслаждениями и мешать старости искать в них отраду.



Если присутствие близких людей и доставляет умирающему кое-какие удобства, то оно же причиняет ему кучу неприятностей.

Если для того, чтобы мы появились на свет, нужно содействие повитухи, то для того, чтобы его покинуть, мы нуждаемся в человеке, еще более умелом, чем она.

Давайте жить и смеяться перед своими, умирать и хмуриться перед посторонними.

Я заранее мирюсь со всем, что свершится, когда меня больше не будет; мне хватает забот, причиняемых событиями нашего времени.

Следует держаться между ненавистью к страданию и любовью к наслаждению; и Платон советует избирать средний жизненный путь между этими двумя чувствами.

Чтобы упасть, не нужно искусства; по завершении всякого дела сам собой приходит конец.

Если речь идет о том, чтобы лишить кого-то жизни, необходимо, чтобы все дело представало в совершенно ясном и честном освещении. И жизнь наша есть нечто слишком реальное и существенно важное, чтобы ею можно было

расплачиваться за какие-то сверхъестественные и воображаемые события.

От мыслей о смерти более тягостной становится жизнь, от мыслей о жизни — смерть. Первая нам не дает покоя, вторая нас страшит.

Если мы не сумели по-настоящему жить, несправедливо учить нас смерти и усложнять нам конец всего. Если же мы способны прожить свою жизнь стойко и спокойно, то сумеем и умереть точно так же.

В жизни надо учиться тому, как упорядочить ее, должным образом прожить, стойко перенося все жизненные невзгоды.

Могу сказать, что со смертью я не знаком, что ничего о ней мне не известно и что я не видел ни одного человека, который на собственном опыте познал бы ее и мог бы просветить меня на этот счет.

Те, кто боятся смерти, полагают, видимо, что знают ее. Что до меня, то я не ведаю, что она собой представляет и что делается на том свете… Того, о чем я не знаю, хорошо оно или дурно, я не страшусь.

Вполне можно представить себе, что врожденной у нас является боязнь страданий, но не боязнь смерти самой по себе: ведь это такая же необходимая сторона нашего бытия, как и жизнь.

Почему бы природа стала наделять нас отвращением и ужасом перед смертью, если та ей столь полезна для порождения и взращивания новых поколений?..

Ум наш к старости коснеет и тяжелеет.

Опасения, желания, надежды влекут к будущему; они лишают нас способности воспринимать и понимать то, что есть, поглощая нас тем, что будет хотя бы даже тогда, когда нас самих больше не будет.

Уединение, как мне кажется, имеет разумные основания скорее для тех, кто успел отдать миру свои самые деятельные и цветущие годы.

Именно привычка сообщает нашей жизни такую форму, какая ей заблагорассудится.

Следует руководствоваться разумными правилами, но не подчиняться им слепо.

Надо уметь переносить то, чего нельзя избежать. Наша жизнь, подобно мировой гармонии,

слагается из вещей противоположных, из разнообразных музыкальных тонов, сладостных и грубых, высоких и низких, мягких и суровых. Что смог бы сделать музыкант, предпочитающий лишь одни тона? Он должен уметь пользоваться всеми вместе и смешивать их. Так должно быть и у нас с радостями и бедами, составляющими нашу жизнь. Само существование наше немыслимо без этого смешения; тут необходимо звучание и той и иной струны.

Кто боится страданий, страдает уже от самой боязни.



Ты умираешь не потому, что ты болеешь, а потому, что ты живешь. Смерть покончит с тобой и без помощи болезни.

По правде говоря, при мысли о смерти главное мое утешение состоит в том, что явление это естественное, справедливое и что если бы я требовал и желал от судьбы какой бы то ни было милости в этом отношении, такая милость была бы чем-то незаконным.

Ко всему в нашей жизни незаметно примешивается смерть: закат начинается еще до своего часа, а отблеск его освещает даже наше победное шествие вперед.

Кто учит людей умирать, тот учит их жить.

Нет науки, которой было бы труднее овладеть, чем умением хорошо и согласно всем естественным законам прожить эту жизнь.

Я считаю жизнь ценной и привлекательной, даже на последнем отрезке. Природа даровала нам ее столь благосклонно обставленной, что нам приходится винить лишь самих себя, если она для нас жестока и если она бесполезно протекает у нас между пальцами.

Человек необычайно озабочен тем, чтобы продлить свое существование; он предусмотрел все в этом отношении: для сохранения тела должны служить гробницы, для увековечения имени — слава.

Самой, на мой взгляд, прекрасной жизнью живут те люди, которые равняются по общечеловеческой мерке, в духе разума, но без всяких чудес и необычайностей.

До чего же ничтожно даже у людей наиболее любознательных знание того мира, который движется перед нами, пока мы проходим свой жизненный путь!.. Если бы мы видели такую же часть нашего мира, какой не видим, мы бы, надо полагать, поняли, насколько бесконечно разнообразие и многоразличие форм. И если взглянуть на сущее глазами природы, то окажется, что на свете нет ничего редкого и неповторимого; оно существует только для нашего знания, которое является весьма ненадежной отправной точкой наших суждений и которое то и дело внушает нам крайне ложное представление о вещах.

Когда судят об отдельном поступке, то, прежде чем оценить его, надо учесть разные обстоятельства и принять во внимание весь облик человека,

который совершил его.

Если бы мне было дано вытесать себя по своему вкусу, то нет такой формы — как бы прекрасна она ни была, — в которую я желал бы втиснуться, с тем чтобы никогда уже с нею не расставаться.

Я смертельно боюсь быть в глазах тех, кому довелось знать мое имя, не таким, каков я в действительности, но чем-то иным, на меня не похожим.

Когда мы говорим, что для Бога бесчисленный ряд веков, как прошлых, так и будущих, только одно мгновение, что его благость, мудрость, могущество — то же самое, что и его сущность, то мы произносим слова, которых наш ум не понимает. И тем не менее наше самомнение побуждает нас мерить божество своим аршином.

Наша жизнь — это сплошная забота о приличиях; они опутали нас и заслонили собой сущность вещей. Цепляясь за ветви, мы забываем о существовании ствола и корней.

Покопайся каждый из нас хорошенько в себе, и он обнаружит, что самые сокровенные его желания и надежды возникают и питаются по большей части за счет кого-нибудь другого.

От слабости нашей природы проистекает, что нам не дано пользоваться вещами в их простом и естественном состоянии. Все, что бы мы ни употребляли, подверглось тем или иным изменениям. Это относится и к металлам: даже золото — и к нему приходится что-нибудь примешивать, чтобы сделать его пригодным для наших нужд.

Во всех жизненных делах судьба, которая всегда стремится показать нам свое могущество и унизить нашу самонадеянность, но не может сделать неспособных людей мудрецами, дарует нам вместо разума и доблести — удачу.



Тем, что есть во мне хорошего, я… обязан своему происхождению. Хорошие качества не воспитаны во мне ни законом, ни наставлением, ни путем какого-нибудь другого обучения.

И жизнь правителя, и жизнь простолюдина — это всегда человеческая жизнь, полная обычных для нее превратностей.

…**П**очему бы среди стольких рассуждений, которые столь различными способами убеждают людей относиться с презрением к смерти и терпеливо переносить боль, нам не найти какого-нибудь годного также для нас? И почему из такого множества доводов, убедивших в этом других, каждому из нас не избрать для себя такого, который был бы ему больше по нраву? И если ему не по силам лекарство, действующее быстро и бурно и исторгающее болезнь с корнем, то пусть он примет хотя бы мягчительного, которое принесло бы ему облегчение.

Все, кого постоянно снедает страх утратить имущество, подвергнуться изгнанию, впасть в зависимость, живут в постоянной тревоге; они теряют сон, перестают есть и пить, тогда как бедняки, изгнанники и рабы, зачастую живут столь беспечно, как все прочие люди. Сколько

было таких, которые из боязни перед муками страха повесились, утопились или бросились в пропасть, убеждая нас воочию в том, что он еще более несносен и нетерпим, чем сама смерть.

Человек страдает не столько оттого, что происходит, сколько оттого, как он оценивает то, что с ним происходит.

Непостоянство и шаткость судьбы приводят к тому, что ей приходится представать перед нами в самых разных обличиях.

Тому, кто сказал Сократу: «Тридцать тиранов осудили тебя на смерть», последний ответил: «А их осудила на смерть природа».

В конце концов, если вы гибнете, то в этом повинны вы сами, и даже ваши друзья станут в большей степени винить вашу неосторожность и неосмотрительность, чем оплакивать вас.

Всякий, кто хочет устранить только то, что причиняет ему страдание, недостаточно дальновиден, ибо благо необязательно идет следом за злом, за ним может идти новое зло, и притом еще худшее.

Нужно довольствоваться тем светом, который

солнцу угодно изливать на нас своими лучами; кто же поднимет взор, чтобы впитать в себя немного больше света, пусть не сетует, если в наказание за свою дерзость он лишится зрения.

Не кажется ли вам порой, что судьба — остроумная выдумщица?.. Не руководит ли порой судьба нашими замыслами и не исправляет ли она их?

